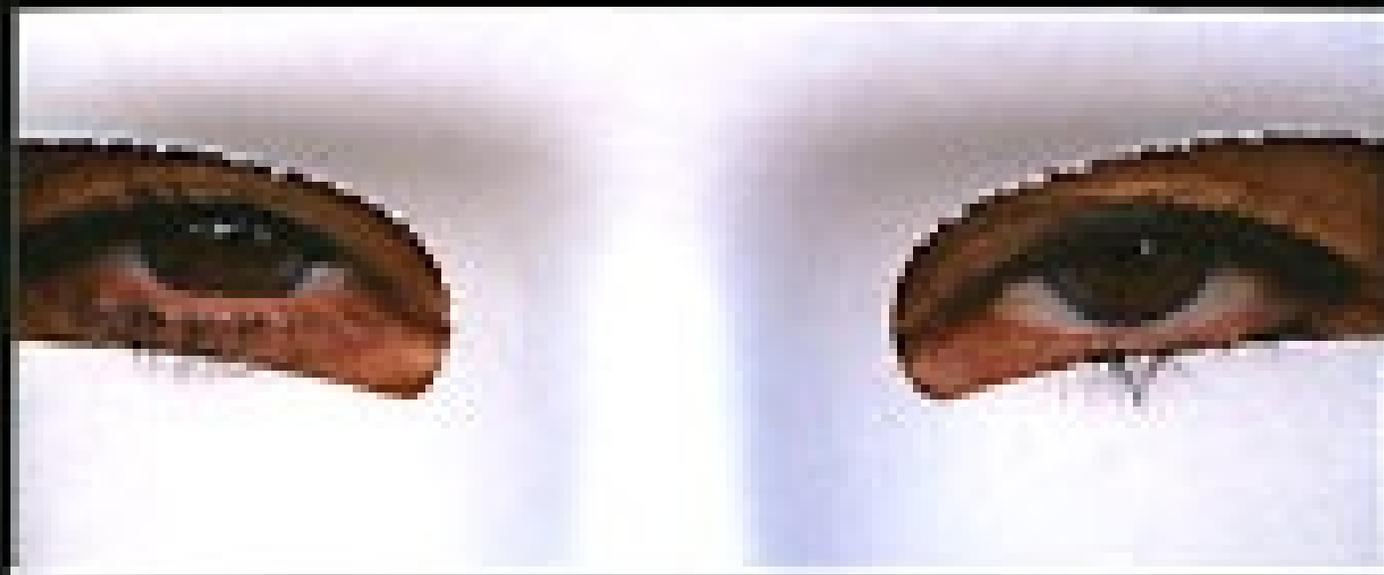


СУАД



СОЖУЖЕННАЯ
ЗАЖИВО

Annotation

Эта книга, переведенная на многие языки, представляет собой исповедь женщины с уникальной и трагической судьбой. В семнадцать лет за «преступление против чести семьи» она была приговорена к смерти самыми близкими ей людьми. О ее чудесном спасении, о людях, которые пришли ей на помощь, — эта документальная повесть, ставшая мировым бестселлером.

Где-то на противоположном от Израиля берегу реки Иордан есть палестинская деревня, в которой мужчинам позволяет все, а женщинам — ничего. Женщина там ценится гораздо ниже барана или коровы. Матери, сестры, дочери и жены трудятся там с рассвета до заката, как рабы, а в ответ получают лишь побои и ругань. Если в семье слишком много дочерей, младенцев женского пола там просто душат вскоре после рождения. Девушка, которая посмотрела на мужчину или обменялась с ним парой фраз, называется там потаскухой. Семья обязана ее убить, иначе против них восстанет общественное мнение всей деревни.

Именно в такой деревне и выросла девочка по имени Суад. Единственным радостным событием в жизни палестинской селянки является свадьба. По местным обычаям, замужние женщины приобретают относительную свободу — они могут краситься и ходить в магазин. А поскольку Суад не имела права выйти замуж раньше своей старшей сестры, девушка пошла на отчаянный шаг — начала тайно встречаться со сватавшимся за нее мужчиной. Когда Суад забеременела, ухажер сбежал, а родители приговорили ее к смерти.

История Суад реальна — так утверждают издатели и активисты швейцарского гуманитарного фонда «Возникновение», чьими силами удалось спасти от гибели не только Суад, которую родственники облили бензином и подожгли, но и ее еще не родившегося сына. Лицо Суад практически не пострадало, однако она фотографируется в маске, так как опасается, что родственники увидят ее живой и захотят убить во второй раз — подобные случаи известны, поборники женоненавистнической морали находили своих жертв даже в Европе.

Воспоминания спасенной женщины Востока о детстве и юности в глухой мусульманской провинции способны лишить цивилизованную, избалованную равноправием девушку сна и аппетита. Жизнь, которую

описывает Суад, конечно, не жизнь, а сущий ад. Причем ужаснее всего то, что, как свидетельствует героиня, местные женщины и не думают протестовать, по крайней мере, до тех пор, пока их не пытается убить их собственная семья.

Тем не менее, где-то на задворках сознания теплится смутный дискомфорт: уж как-то все слишком беспросветно черно, и как-то слишком идеологически выгодно всем тем, кто против мусульман. Не спешите делать скорые и однозначные выводы - как бы там ни было, мы, читатели, не в курсе, что там было на самом деле, и судим о ситуации со слов других людей.

И помните: домашнее насилие против женщин – реальность не только в Палестине.

- [Суад](#)
 - [На меня пал огонь](#)
 - [Память](#)
 - [Ханан?](#)
 - [Зеленый помидор](#)
 - [Кровь новобрачной](#)
 - [Ассад](#)
 - [Секрет](#)
 - [Последнее свидание](#)
 - [Огонь](#)
 - [Умереть](#)
 - [Жаклин](#)
 - [Суад умрет](#)
 - [Швейцария](#)
 - [Маруан](#)
 - [Чего мне не хватало](#)
 - [Выживший свидетель](#)
 - [Жаклин](#)
 - [Мой сын](#)
 - [Построить дом](#)
-

Суад
Сожженная заживо
(Рукопись)

На меня пал огонь

Я девушка, а девушка должна идти быстро, низко опустив голову, словно она считает шаги. Глаза ее не должны ни подниматься, ни уходить вправо и влево от дороги, потому что, если вдруг встретятся с глазами мужчины, вся деревня сочтет, что она шармута.

Если замужняя соседка, или старуха, или кто угодно заметит девушку одну на улице, без матери или старшей сестры, без овцы, без охапки сена или корзины с инжиром, то про нее опять скажут: «шармута».

Девушка должна быть замужем, чтобы иметь право смотреть вперед, заходить в лавку торговца, делать эпиляцию и носить украшения.

Если девушка не вышла замуж до четырнадцати лет, как моя мать, деревня начинает над ней насмехаться. Но чтобы выйти замуж, девушка должна ждать своей очереди в семье. Сначала старшая, а потом все остальные.

В доме моего отца слишком много девушек. Четыре, и все невесты. Есть еще две дочери от второй жены нашего отца. Но они девочки. Единственным мужчиной в семье является наш всеми обожаемый брат Ассад, родившийся среди сестер четвертым. Я занимаю третье место.

Мой отец Аднан недоволен моей матерью Лейлой, которая родила ему столько девочек. Он также недоволен и своей второй женой Айшей, потому что и у нее одни девочки.

Нура, самая старшая, вышла замуж поздно, когда мне самой было уже пятнадцать. Вторую сестру, Кайнат, никто не хотел брать замуж. Я слышала, что один человек говорил с отцом обо мне и что я должна ждать свадьбы Кайнат, прежде чем думать о своей. Но, возможно, Кайнат недостаточно красивая, а может, она слишком ленива в работе... Я не знаю, почему к ней никто не сватается, но если она останется старой девой, то станет посмешищем для всей деревни, и я стану вместе с ней.

С той поры, как я себя помню, у меня не было ни игр, ни удовольствий. Родиться девочкой в нашей деревне — это проклятие. Мечта о свободе связана с замужеством. Покинуть дом отца ради дома мужа и больше никогда туда не возвращаться, даже если муж будет тебя бить. Если замужняя женщина возвращается в дом отца, это позор. Она не должна искать защиты нигде, кроме дома мужа, и в противном случае долг ее семьи — вернуть ее в дом мужа.

Мою сестру бил муж, и она опозорила отца, придя к нему жаловаться.

Но все-таки ей повезло, что у нее есть муж, о котором я пока только мечтаю.

С тех пор как я услышала, что один человек говорил обо мне с отцом, меня пожирала любопытство и нетерпение. Я знала, что этот парень жил в двух шагах от нас. Иногда я могла его разглядеть с высоты террасы, где развешивала белье. Я знала, что у него была машина, он носил костюм и при нем всегда портфель. Он никогда не одевался как работяга, должно быть, работал в городе, в хорошем месте и имел всегда безупречный вид. Мне хотелось увидеть поближе его лицо, но я всегда боялась, что кто-нибудь из моей семьи застанет меня за подглядыванием. Поэтому, когда меня посылали на конюшню за сеном для больного барана, я быстро шла по дороге в надежде увидеть его близко. Но он ставил свою машину слишком далеко. Благодаря моим наблюдениям я примерно знала, в котором часу он выходит на работу. В семь утра я делала вид, что складываю высохшее белье на террасе, или собираю созревший инжир, или вытряхиваю ковер, чтобы несколько секунд посмотреть, как он уезжает на машине. Я должна была все делать быстро, чтобы никто ничего не заметил.

Я поднималась по лестнице, проходила через комнаты и шла на террасу. Я энергично трясла ковер и смотрела через цементную стену, слегка скосив глаза вправо. Если кто-нибудь наблюдал за мной издали, он никак не мог догадаться, что я смотрю на улицу.

Иногда мне удавалось его заметить. Я была влюблена в этого человека и его машину! На своей террасе я фантазировала: вот вышла за него замуж и смотрю, как его машина удаляется, как и сегодня, так что я ее уже не вижу, но на закате солнца он вернется с работы. Я сниму с него ботинки и, стоя на коленях, вымою ему ноги, как моя мать отцу. Я подам ему чай, буду смотреть, как он закуривает свою длинную трубку, сидя как король перед дверью своего дома. Я буду женщиной, у которой есть муж!

И я смогу пользоваться косметикой, ездить с мужем на машине и даже поехать в город. Я вынесла бы что угодно, лишь бы обрести свободу и, когда мне захочется, одной выйти за порог и пойти купить хлеба!

Но я никогда не буду шармута. Я не буду глядеть на других мужчин, я буду ходить быстро, но прямо и гордо, не считая шаги и не опуская глаз, и никто в деревне не посмеет сказать обо мне плохо, потому что я буду замужем.

Именно на террасе началась моя ужасная история. Я уже была старше, чем моя сестра ко дню своей свадьбы, я надеялась и теряла надежду.

Мне должно было скоро исполниться восемнадцать, а может быть больше, я не знаю.

Моя память унеслась вместе с дымом, в тот день, когда на меня пал огонь.

Память

Я родилась в крошечной деревушке. Говорили, что она расположена где-то на иорданской территории, затем — на границе иорданской территории, затем — к западу от иорданской территории, но, поскольку я никогда не ходила в школу, я ничего не знаю об истории моей страны. Говорили, что я родилась там то ли в 1958-м, то ли в 1957-м... То есть сейчас мне примерно сорок пять лет. Двадцать пять лет назад я говорила только по-арабски, не выходила из своей деревни дальше, чем на несколько километров от последнего дома, знала, что где-то далеко существуют города, но их никогда не видела. Я не знала, круглая Земля или плоская, я не имела ни малейшего представления о мире. Я знала, что надо ненавидеть евреев, захвативших нашу землю, мой отец называл их свиньями. К ним нельзя было подходить, прикасаться к ним, разговаривать, иначе сам станешь свиньей, как они. Надо было молиться, по крайней мере, два раза в день, произносить молитвы, как это делали моя мать и сестры, но я узнала о существовании Корана только много лет спустя, в Европе. В школу ходил мой единственный брат, король нашего дома, но не девочки. Родиться девочкой у нас в семье — это проклятие. Жена должна родить сначала сына, хотя бы одного, а если у нее родятся одни девочки, над ней смеются. Надо иметь две или самое большее три дочери, чтобы они работали по дому, в огороде или ухаживали за скотиной. Если в семье происходит по-другому, это большое несчастье, от которого надо избавиться как можно скорее. Я очень быстро узнала, как от него избавляются. Так я прожила почти семнадцать лет, не зная ничего другого, потому что я была девушка, а это хуже, чем быть скотиной.

Такова моя первая жизнь, жизнь арабской женщины на западном берегу реки Иордан. Она продолжалась двадцать лет, и потом я умерла. Умерла физически, социально, навсегда.

Моя вторая жизнь началась в Европе, в конце 70-х годов, с международного аэропорта. Я была человеческими останками, умирающими на носилках. Я ощущала смерть в такой степени, что служащие, которые несли меня к трапу, стали возражать. Меня спрятали за шторкой, но все равно мое присутствие было для них невыносимо. Мне говорили, что я выживу, но я прекрасно знала, что нет, и ждала смерти. Я умоляла ее забрать меня. Смерть была лучше, чем страдание и унижение. От моего тела ничего не осталось, зачем же они хотели заставить меня

жить, когда я желала одного — не существовать больше ни телом, ни духом.

Даже сегодня мне случается думать об этом. Это правда, я хотела умереть больше, чем встретиться с этой второй жизнью, которую мне так щедро подарили. Выжить в моем случае — это чудо. И оно дает мне сейчас возможность свидетельствовать от имени всех тех женщин, которым не выпал этот шанс, которые до наших дней продолжают умирать только потому, что они женщины.

Я должна была выучить французский, слушая, как говорят другие люди и, заставляя себя повторять слова, смысл которых мне объясняли знаками: «Больно? Не больно? Есть? Пить? Спать? Ходить?» А я отвечала знаками «да» или «нет».

Гораздо позже я научилась читать слова по газете, терпеливо, день за днем. Сначала я разбирала только маленькие объявления, некрологи, короткие фразы с небольшим количеством слов, которые я фонетически повторяла. Иногда у меня появлялось чувство, что я животное, которое учат говорить по-человечески, в то время как у меня в голове звучали арабские слова, и я себя спрашивала, где я была, в какой стране и почему я не умерла там, в своей деревне. Мне было стыдно, что я еще жива, но никто об этом не знал. Мне было страшно от этой жизни, но никто этого не понимал.

Я должна была сказать все это перед тем, как попытаться собрать обрывки моей памяти, потому что я хотела, чтобы мои слова были написаны в книге.

В моей памяти много пустоты. Первая часть моего существования состоит из образов, странных и жестоких сцен, как в телевизионном фильме. Иногда я не верю сама себе, так мне больно собрать их по порядку. Можно ли, к примеру, забыть имя одной из сестер? Или сколько лет было брату, когда он женился? И при этом не забыть коз, овец, коров, помнить печь для хлеба, стирку в саду, помнить, как собирали цветную капусту, кабачки, помидоры, инжир... хлев и кухню... мешки с пшеницей и змеей? Террасу, где я подглядывала за моим возлюбленным? Пшеничное поле, где я совершила свой «грех»?

Я плохо помню мое раннее детство. Иногда в глаза бросится цвет или предмет, и в памяти вспыхивают и смешиваются образы, персонажи, крики, лица. Часто, когда меня о чем-то спрашивают, в моей голове зияет совершенная пустота. Я безнадежно ищу ответ, а он не приходит. Или бывает, что вдруг появится какой-то образ, а я не знаю, чему он соответствует. Однако эти картинки впечатались в мою память, и мне их никогда не забыть. Невозможно забыть собственную смерть.

Меня зовут Суад, я девочка с западного берега реки Иордан, вместе с моей сестрой мы ухаживаем за овцами и козами, потому что у моего отца есть стадо, и я работаю как лошадь.

Я должна была начать работать к восьми-девяти годам, а первые месячные должны были начаться в десять лет. У нас говорят, что девочка созрела, когда это с ней случается. Мне было стыдно за эту кровь, потому что ее надо было скрывать даже от матери, тайком стирать шаровары, придавать им белизну, а потом быстро сушить на солнце, чтобы мужчины и соседи их не увидели. У меня было всего двое шаровар. Я вспоминаю, что в качестве прокладок я пользовалась бумагой в эти проклятые дни, когда тебя презирали, будто ты больна чумой. Тайком я зарывала поглубже в помойное ведро эти знаки моей нечистоты. Если болел живот, мать готовила отвар из листьев шалфея и давала мне его пить. Она туго обвязывала мне голову платком, и наутро у меня уже ничего не болело. Это единственное лекарство, о котором я помню, и я пользуюсь им до сих пор, потому что оно очень эффективно.

С утра мы с сестрой Кайнат, которая была старше меня на год, отправлялись в конюшню, я свистела в два пальца, чтобы собрать овец вокруг нас. Девочки не должны выходить одни или с младшими сестрами. Старшая служит гарантией для младшей. Моя сестра Кайнат милая, круглая, немного жирноватая, а я маленькая и тощая, но мы хорошо ладим.

Мы обе выходили с овцами и козами из деревни и шли на луг, находившийся в четверти часа ходьбы от деревни, мы шли быстро, опустив глаза, до самого последнего дома. Зато на лугу мы были свободны, могли говорить друг другу всякие глупости и даже немного смеяться. Я не помню, чтобы между нами были долгие разговоры. В основном мы болтали о том, когда съесть сыр, взрезать арбуз, как присмотреть за овцами и, особенно за козами, способными сожрать все листья с инжира за несколько минут. Когда овцы собирались в кружок, чтобы вздремнуть, мы тоже засыпали в тенечке, опасаясь, как бы какая-нибудь овца или коза не забрела на соседское поле, ведь тогда не миновать последствий после возвращения. Если животное забиралось в огород или мы возвращались в конюшню, опоздав на несколько минут, нас пороли ремнем.

Наша деревня казалась мне очень красивой и зеленой. Там росли фиговые деревья, виноград, фрукты, лимоны и было несметное количество олив. Моему отцу принадлежала половина всех обрабатываемых земель деревни, ему одному... Он не был богачом, но жил неплохо. Большой каменный дом, окруженный стеной с большими железными воротами,

выкрашенными в серый цвет. Эти ворота были символом нашего заточения. Когда мы входили внутрь, ворота захлопывались, чтобы не дать нам выйти. Через эти ворота можно было войти с улицы, но не выйти. Был ли от них ключ? Или они открывались автоматически? Я помню, что мать и отец выходили, но не мы. Мой брат, в отличие от нас, был свободен. Свободен, как ветер: он ходил в кино, он выходил, он возвращался через эти ворота, он делал что хотел. Я часто смотрела на эти ворота, говоря себе: «Никогда я не смогу выйти через них, никогда...»

Деревню я знала не очень хорошо, потому что мы не имели права выходить. Закрыв глаза, чтобы сконцентрироваться, с большим усилием я могу сказать, что видела. Вот дом моих родителей, немного подальше, на той же стороне, дом, как я его называю, богатых людей. А напротив дом моего возлюбленного. Только перейти дорогу, и вот он, я его вижу со своей террасы. Еще я вижу несколько разрозненных домов, не знаю сколько, но очень немного. Дома окружены стенами или железными оградами, за ними огороды, как и у нас. Я покидаю дом, только чтобы выйти на рынок с отцом или матерью или пойти на луг с моей сестрой пасти овец. И это все.

До семнадцати-восемнадцати лет я не видела ничего другого. Я ни разу не ходила в наш деревенский магазин, рядом с домом. Проезжая с отцом на его грузовичке на рынок, я видела торговца, всегда стоящего у дверей с сигаретой. Перед его лавкой было две лесенки: справа можно было купить сигареты, газеты и напитки, туда шли одни мужчины. Слева продавались овощи и фрукты.

На той же стороне дороги был еще один дом, где жила замужняя женщина, у которой было четверо детей, и она имела право выходить. Она могла войти в магазин, я видела, как она стояла на лестнице со стороны овощей и фруктов, держа в руках прозрачные пластиковые мешки.

Вокруг нашего дома был большой участок. Там выращивали кабачки, тыквы, цветную капусту, помидоры, много всяких овощей. Наш огород примыкал к соседскому, отделенному невысокой стенкой, через которую можно было легко перелезть, но никто из нас никогда этого не делал. Заточение было для нас привычным. Девочке из нашего дома даже в голову никогда не приходило перелезть через эту символическую преграду. Куда пойти? Окажись она в деревне одна, на дороге, ее очень быстро вернут домой, а честь семьи будет запятнана.

В саду я занималась стиркой. Там, в углу, был колодец. Я разводила огонь и грела воду. Брала из запаса вязанку хвороста, сама на коленке ломала сучья и нагревала воду... довольно долго. Пока вода грелась, я делала что-нибудь другое, подметала, мыла пол, пропалывала огород.

Потом я стирала вручную и шла на террасу развешивать белье на солнце.

Дом у нас был современный, очень удобный, но не было горячей воды ни в кухне, ни для умывания. Воду надо было греть в саду, а потом нести в дом. Позже отец провел горячую воду и установил ванну и душ. Все девочки пользовались для умывания одной и той же водой, и только брат имел право на отдельную воду для него одного и, разумеется, отец.

Ночью мы с сестрами спали на полу на овечьих шкурах. Когда было очень жарко, располагались на террасе, прямо под луной. Девочки спали с одной стороны террасы, прижавшись, друг к другу, родители и брат — с другой.

Рабочий день начинался рано. С восходом солнца, часа в четыре, а то и раньше, поднимались отец с матерью. На время уборки зерна мы брали еду с собой и шли все вместе, отец, мать, мои сестры и я. Во время сбора инжира выходили тоже довольно рано. Мы собирали его по штучке, не пропуская ни одной, укладывали в коробки, и отец вез их на рынок. До рынка добирались на осле добрых полчаса, приходили в маленький городок, в самом деле, очень маленький, я забыла его название, а может никогда и не знала его. Половина рынка у входа в город была занята его продукцией, и торговцы продавали ее. Чтобы купить одежду, надо было ехать в городок побольше и добираться туда на автобусе. Но девочки туда никогда не ездили. Туда ездила только мать в сопровождении отца. Это было так: мать с отцом покупали вещи, мать давала своим дочерям платья. Нравилось нам или не нравилось — мы должны были это надевать. Ни сестры, ни я, ни даже наша мать не имели права высказать свое мнение. И это было так, и никак иначе.

Поэтому у нас были длинные платья с короткими рукавами, какой-то сорт хлопка, серые, иногда белые, очень редко черные, ткань была очень жаркой и колола кожу. Воротник всегда был высокий и закрытый. Но сверху мы должны были надевать рубашку или, в зависимости от времени года, кофту с длинными рукавами. Зачастую было так жарко, что мы задыхались, но рукава были обязательными. Показать участок кожи на руках или ногах еще хуже, чем на шее, это позор. Мы всегда ходили босиком, у нас никогда не было обуви, только иногда замужние женщины носили обувь.

Под длинным, застегнутым на пуговицы до самой шеи платьем я носила шаровары — это белые или серые штаны, очень широкие, а под ними еще были большие, как шорты, трусы, которые доходили до верха живота. Мои сестры были одеты так же.

Моя мать часто была одета в черное. Отец носил белые шаровары,

длинную рубаху, а на голове красно-белый платок, как у палестинцев.

Мой отец! Как сейчас вижу его сидящим перед домом, прямо на земле, под деревом, с трубкой в руках. Он маленького роста, цвет лица очень бледный, с рыжими веснушками, у него круглая голова и злые голубые глаза. Однажды он упал с лошади и сломал ногу, и мы, дочери, были очень этому рады, потому что он не мог быстро бегать за нами с ремнем, чтобы отлупить нас. Если бы он умер, мы бы радовались еще больше.

Я очень хорошо его вижу, моего отца. Я никогда не смогу его забыть, будто его фотография приклеена у меня в голове. Он сидит перед домом, как король у дворца, с красно-белым платком на голове, скрывающим его лысый рыжий череп. На нем ремень, а на коленях согнутых ног лежит палка. Я очень хорошо его вижу, маленького и злобного, — он расстегивает свой ремень и кричит: «Почему овцы вернулись одни?»

Он хватает меня за волосы и тащит по земле на кухню. Он бьет меня, пока я стою на коленях, он тянет меня за косу, как будто хочет ее оторвать, а потом отрезает ее огромными овечьими ножницами. У меня нет больше волос. Я могу плакать, кричать, умолять, но получу только пинки ногами. Это ведь я виновата.

Было очень жарко, и я заснула вместе с сестрой, а овцы ушли. Он бил нас так сильно своей палкой, что иногда я не могла заснуть, не могла лечь ни на правый, ни на левый бок, так мне было больно. Кажется, нас били палкой или ремнем каждый день. День без побоев — это было что-то из ряда вон выходящее.

Может быть, как раз тогда нам с Кайнат связали руки за спиной и ноги, заткнули рты платком, чтобы мы не могли кричать, и привязали. Так мы оставались всю ночь — привязанными к перекладине в конюшне, с животными, но хуже, чем животные.

Вот так было в деревне, где правили законы мужчин. В некоторых домах девочки и женщины бывали биты каждый день. Иногда мы слышали, как они кричат. Впрочем, это было нормально — бить, отрезать волосы или привязывать в конюшне к перекладине. Просто не было другого образа жизни.

Мой отец был всемогущим, как царь, который обладает, решает, бьет и мучает. И он спокойно курит свою трубку перед домом, в котором заперты его дочери, потому что он ставит их даже ниже животных. Мужчина берет жену, чтобы она рожала сыновей, чтобы была для него рабыней. Как и дочери, если ей выпадет несчастье родить их.

Часто я думала, глядя на своего брата, которого я, как и вся семья, обожала: «Чего у него такого больше, чем у меня? Ведь он вышел из той же

утробы, что и я...» — и никогда не находила ответа. Это было так, а не иначе. Мы должны были служить ему, как и отцу, ползая на коленях и опустив глаза. Я помню, что даже поднос с чаем надо было подавать мужчинам в семье, подползая на коленях и считая шаги, согнув спину и не говоря ни слова. Мы не говорили. Мы только могли ответить на вопросы. В полдень ели сладкий рис, овощи с курицей или бараниной. И всегда был хлеб. В семье всегда была еда, мы ни в чем не испытывали недостатка.

Было много фруктов. Виноград я собирала только на террасе. Были апельсины, бананы и особенно много инжира, черного и зеленого. Ранним утром я шла его собирать, и это воспоминание никогда не изгладится из моей памяти: плоды инжира, чуть треснувшие от ночной прохлады, сочатся сладким соком, похожим на мед, и это было самое лучшее лакомство.

Очень много хлопот доставляли овцы. Вывести их из конюшни, привести на луг, следить, вести обратно, стричь овечью шерсть, которую отец сдавал торговцам на рынке. Я беру барана за ноги, укладываю его на землю, связываю и стригу большими овечьими ножницами. Они слишком велики для меня, и через некоторое время начинают болеть руки.

Сидя на земле, я дою овец. Я зажимаю ноги животного между своими коленями и дою молоко, чтобы приготовить сыр. Часть молока оставляем на холоде, чтобы его пить, оно такое жирное и питательное.

В доме моего отца почти все, что нужно для еды, выращивается на огороде. Мы все делаем сами. Отец покупает только сахар, соль и чай.

По утрам я готовлю чай для сестер, наливаю немного оливкового масла в тарелку, кладу оливки, грею воду в тазу на углях в печи для хлеба. Зеленый чай стоит в мешке из бежевой ткани в углу кухни, на земле. Я запускаю руку в мешок, беру горсть и насыпаю в чайник, добавляю сахар и иду в сад за кипятком. Таз тяжелый, и мне больно нести его обеими руками. Выгнув спину, чтобы не обжечься, я возвращаюсь в дом и медленно выливаю воду в чайник, на чай и сахар. Сахар стоит дорого. Я знаю, что если просыплю несколько крупинок на пол, меня побьют. Поэтому я все делаю осторожно. Если же я такая неловкая и просыпаю сахар, то мне надо не подмести его, а тщательно собрать и высыпать в чайник. Мои сестры приходят есть, но отец, мать и брат никогда не едят вместе с нами. На запомнившихся мне утренних чаепитиях я вижу сидящих на полу кухни сестер. Я пытаюсь вспомнить, сколько мне тогда было лет, но это трудно. Старшая, Нура, была ли она уже замужем?

Мне не удастся расположить мои воспоминания по порядку, в соответствии с моим возрастом, я думаю, что моя память более точна за год или два до свадьбы Нуры. Кажется, мне было тогда лет пятнадцать.

Итак, в доме кроме меня оставались моя сестра Кайнат, которая была старше меня на год и еще не замужем, и моя младшая сестра, имя которой от меня ускользнуло. Я пыталась вспомнить, как ее звали, но мне не удалось. Но, говоря о ней, мне надо как-то ее называть, поэтому я назову ее Ханан, но пусть она меня простит, если это не настоящее ее имя. Я знаю, что она занималась нашими двумя сестрами по отцу. После того, как отец расстался со своей второй женой Айшей, он привел девочек к нам в дом. Я видела эту женщину и не испытывала к ней ненависти. Что отец взял ее, это было нормально. Он хотел всегда иметь сыновей, но и с Айшей у него этого не получилось, и у нее родились две девочки, опять девочки! Поэтому он бросил ее и привел двух новых сестричек к нам в дом. Это было нормальным. Все было нормальным в этой жизни, в том числе и удары палкой и все остальное. Я и не представляла, что есть что-то другое. Впрочем, я совсем ничего не представляла. Я думаю, что в моей голове не было ни мечтаний, ни точных мыслей. Никаких игрушек, никаких игр, только подчинение и покорность.

Во всяком случае, эти две девочки теперь жили с нами. Ханан оставалась дома, чтобы за ними присматривать, и в этом я уверена. Их имена, к сожалению, тоже ушли из моей памяти в забвение. Я их звала всегда «младшие сестрички»... В моих первых воспоминаниях им было по пять-шесть лет, и они еще не работали. Они находились на попечении Ханан, которая крайне редко выходила из дому, лишь в случае необходимости, когда наступал сезон уборки овощей.

В нашей семье дети следовали один за другим примерно через год. Моя мать вышла замуж в четырнадцать лет, мой отец был гораздо старше ее. Она родила много детей. Всего четырнадцать. В живых осталось пятеро. Долгое время я не понимала, что означают эти четырнадцать... Однажды дед, отец моей матери, говорил об этом, когда я подавала им чай. Я услышала фразу: «К счастью, ты вышла замуж рано, ты имела возможность родить четырнадцать детей... и у тебя есть сын, это хорошо!»

Хотя я и не ходила в школу, но умела считать овец. Я могла посчитать на пальцах, что нас было пятеро, вышедших из одного живота нашей матери: Нура, Кайнат, я — Суад, Ассад и Ханан. Где же другие? Моя мать никогда не говорила, что они умерли, но как само собой разумеющееся она говорила: «У меня было четырнадцать детей, из них семеро живых». Предполагая, что она считает с нами двух сестер по отцу, потому что мы никогда не говорили «сестры по отцу», а просто «сестры»... тогда нас действительно было семеро... Но не хватало еще семерых других? А если она не считала младших, тогда не хватало девятерых?

И вот однажды я увидела, почему нас в доме было только семеро, или пятеро...

Я не смогу сказать точно когда, но я еще не «созрела», то есть мне было меньше десяти лет. Старшая Нура была со мной. Я многое забыла, но то, что я видела собственными глазами, ужаснуло меня, хотя я и не осознавала, что это преступление.

Я видела свою мать лежащей на полу на овечьей шкуре. Она рожала, и моя тетя Салима была с ней, сидела рядом на подушке. Я слышала крики и матери, и ребенка, и сразу же моя мать схватила овечью шкуру и стала душить ребенка. Она стояла на коленях, и я видела, как младенец ворочается под шкурой, а потом все кончилось. Я не знаю, что произошло потом, но ребенка больше не было, и всё, и только я цепенела от страха.

Значит, это была девочка, которую моя мать задушила при рождении. Я это увидела впервые, потом второй раз, не уверена, что присутствовала при третьем случае, но знаю о нем. Я слышала, как моя старшая сестра Нура говорила матери: «Если у меня будут девочки, я сделаю, как ты...»

Значит, именно таким образом моя мать избавилась от пяти или шести девочек, родившихся после нас, вернее, после Ханан, последней из оставшихся в живых.

Стало быть, это было вполне допустимо, нормально, и ни перед кем не ставило проблем. Даже передо мной, хотя я и думала по-другому, когда увидела это впервые, и мне было так страшно.

Эти маленькие девочки, которых убивала моя мать, были отчасти мною самой. Я начала прятаться, чтобы поплакать, каждый раз, когда мой отец убивал барана или курицу, потому что я дрожала за свою жизнь. Смерть животного, как и смерть младенца, такая простая и такая обыкновенная для моих родителей, повергала меня в ужас, я боялась, что исчезну в свою очередь, как и они, так же просто и быстро. Я говорила себе: «Может быть, в один день настанет и моя очередь или моей сестры, ведь они могут убивать, когда хотят. Старшую или младшую, какая разница. Потому что они дали нам жизнь, значит, имеют право и отнять ее».

Пока я жила у моих родителей, в моей деревне, там всегда присутствовал страх смерти. Я боялась подниматься по лестнице, когда отец стоял внизу. Я боялась топора, которым рубили хворост, я боялась колодца, когда ходила за водой. Боялась, когда отец в конюшне поджидал нас, возвращавшихся с овцами. Боялась скрипа двери ночью, боялась быть задушенной бараньей шкурой, которая служила мне постелью.

Иногда, возвращаясь с лугов, домой, мы с Кайнат немного говорили об

этом:

«А если бы мы пришли, а там все умерли?.. Если бы отец убил мать? Ведь достаточно одного удара камнем! Что бы мы делали?» — «Я молюсь каждый раз, когда иду за водой на колодец, потому что он очень глубокий. Я себе говорю, что если меня толкнут в него, никто не будет знать, куда я подевалась! Ты умрешь на дне, и никто не будет тебя искать».

Этот колодец, я его очень боялась. И моя мать тоже, я чувствовала. Также я боялась оврагов, когда мы ходили по лугам, собирая овец и коз. Я оглядывалась по сторонам, боясь, что отец может притаиться где-нибудь и столкнуть меня в глубину. Это было легко ему, и однажды в глубине оврага я и умерла. В меня можно было бросать камни, я была в земле и там оставалась.

Возможная смерть нашей матери занимала нас больше, чем смерть сестер. Подумаешь, одна сестра, есть и другие... Мать была часто бита, как и мы. Иногда она пыталась нас защитить, когда отец бил нас слишком сильно, и он обрушивал свои удары на нее, он валил ее на землю, таскал за волосы... Наша повседневная жизнь день за днем могла прерваться из-за ничего, случайно, просто потому, что отец так решил. Как моя мать решала удавить новорожденных девочек.

Она была беременная, а потом уже не была, но никто не задавал никаких вопросов. Мы не общались с другими девочками из деревни. Только «здравствуйте» и «до свидания». Мы никогда не были вместе, только на свадьбах. Да и разговоры были банальными. Говорили о еде, о невесте, о других девушках, хороши ли они или некрасивы... о замужних женщинах, что им повезло — они могут пользоваться косметикой.

— Посмотри-ка на эту, она выщипала брови...

— А у этой неплохая стрижка.

— А эта-то, у нее туфли на ногах!

Это была самая богатая девушка деревни, она носила вышитые туфли без задника и каблука. (Мы-то ходили по полям босиком, в ноги впивались колючки, и мы должны были садиться на землю, чтобы вытащить их. У матери не было обуви, моя сестра Нура выходила замуж босая.) Вот и все фразы, которыми обменивались на свадьбах, к тому же я была всего на двух или трех церемониях.

Даже и не думай пожаловаться, что тебя бьют, потому что это было обычным делом. Не говорили и о детях, живых или мертвых, разве только о женщине, которая накануне родила сына. Если сын был живым, слава ей и всей ее семье. Если он умирал, его оплакивали, это было несчастье для нее и всей ее семьи. Считались только мальчики, девочки были не в счет.

Я так и не знаю, что становилось с новорожденными девочками, задушенными моей матерью. То ли их закапывали где-то? То ли давали на съедение псам?.. Моя мать одевалась в черное, отец тоже. Каждое рождение девочки было как похороны. Это всегда ставилось в вину матери, что у нее получались только девочки. Так думал мой отец, да и вся деревня тоже. В моей деревне, если у мужчин был выбор между дочерью и коровой, они выбирали корову. Мой отец без конца повторял, какие мы никчемные: «Корова дает молоко и приносит телят. Что можно сделать с молоком и телятами? Продать. Принести в дом деньги. Корова приносит пользу семье. А дочь? Какую пользу она принесет семье? Никакую. Вот бараны. Что они приносят семье? Шерсть. Можно продать шерсть и принести деньги в дом. Овца растет, приносит других ягнят, дает молоко, из которого можно сделать сыр, его можно продать и принести деньги в дом. Что корова, что баран — гораздо лучше дочери».

Мы, девочки, были в этом убеждены. Впрочем, и с коровой, и с овцой, и с козой обращались лучше, чем с нами. Ни корову, ни овцу никогда не били!

Мы были убеждены также, что представляли для отца еще одну проблему, он всегда боялся, что не выдаст нас замуж. Когда дочь выходила замуж, то из-за плохого обращения она вынуждена была уйти от мужа, вернуться в отчий дом, а это было унижением и позором. Пока она не была замужем, отец боялся, что она останется старой девой и вся деревня будет об этом судачить, а для семьи это драма. Если старая дева идет по улице с отцом и матерью, все смотрят на нее и смеются. Если ей перевалило за двадцать, а она все еще в доме родителей, это ненормально. Каждый понимает, что существует правило, когда девушки в семье выходят замуж по старшинству. Но когда уже стукнуло двадцать, никто ничего больше не ждет. Я не знаю, как это происходит в городах моей страны, но в нашей деревне все именно так.

Когда я исчезла из нашей деревни, моей матери должно было быть не более сорока. Она уже родила двенадцать или четырнадцать детей. У нее осталось пять или семь. Она задушила остальных? Экая важность! Это совершенно нормально.

Ханан?

Был страх смерти и железные ворота, которыми замкнулось наше существование, уцелевших и покорных девочек. Мой брат Ассад ходил в школу с портфелем. Мой брат Ассад ездил верхом, ходил гулять. Мой брат Ассад никогда не ел вместе с нами. Он рос и вырос, как должен вырасти мужчина, свободный и гордый, обслуживаемый своими сестрами, как принц. И я обожала его как принца. Когда он был еще маленьким, я грела ему воду для мытья, я мыла ему голову, я заботилась о нем, как о самом дорогом сокровище. Я ничего не знала о жизни вне дома, я не знала, что он учит в этой школе, что он видел и что делал в городе. Мы ждали, когда он достигнет возраста для женитьбы: в семье свадьба является единственным по-настоящему важным событием, наряду с рождением сына.

Ассад был красив. Мы были довольно близки с ним, насколько это возможно в нашей семье, пока были детьми. Я была старше на один год, и эта разница давала мне какое-то время шанс оставаться рядом с ним. Я не помню, чтобы мы играли, как играют дети этого возраста в Европе. В четырнадцать или пятнадцать лет он уже был мужчиной и избегал меня. Я думаю, он женился очень рано, вероятно, годам к семнадцати. Он стал жестоким. Мой отец его ненавидел. Но причины этого я не знаю... Возможно, они были слишком похожи. Отец боялся, что возмужавший сын лишит его власти. Я не знаю, как между ними вспыхнула вражда, но однажды я видела, как отец взял корзину, вытряхнул из нее содержимое, набил камнями, поднялся на террасу и сбросил ее на голову Ассада, словно хотел убить его.

Когда Ассад женился, он жил со своей женой в другой части дома. Он приставил к двери в смежную комнату шкаф, чтобы отец не смог к нему заходить. Скоро я поняла, что жестокость у мужчин моей деревни идет из поколения в поколение. Отец передает ее сыну, тот своему сыну и так до бесконечности.

Я не видела свою семью вот уже двадцать пять лет. Но если вдруг каким-то чудом я встречу своего брата, я хотела бы задать ему единственный вопрос: «Где моя исчезнувшая сестра, которую я называю Ханан?»

Ханан... Я ее вижу. Красивая девушка, гораздо красивее, чем я, у нее густые черные волосы, физически она более развита. Я вспоминаю, что

Кайнат была мягкой и нежной, слегка полноватой, у Ханан же совсем другой характер, немного резкий, менее покорный, чем у нас. Ее густые брови сходились над глазами. Она не была толстой, но в ней угадывалась будущая округлость и полнота. Она не была такой худышкой, как я. Когда она приходила помочь нам собирать оливки, то работала неторопливо, двигалась неторопливо. Для нашей же семьи это было непривычно: мы быстро ходили, быстро работали, выполняли бегом все поручения, бегом гнали скотину на луг и бегом возвращались домой. Она не была достаточно активной, скорее мечтательной, и никогда не слушала внимательно, что ей говорят. К примеру, когда мы собирали оливки, у меня уже пальцы заболят, потому что я набирала полную корзинку, а у нее еще дно не закрыто. И тогда я оборачивалась, чтобы ей помочь. Если она сильно отставала от других, то ей грозили неприятности с отцом. Я вижу, как мы движемся цепью по оливковой роще. Мы равномерно продвигаемся вперед, сидя на корточках, собирая оливки в едином ритме. Движение руки должно быть быстрым. Когда пригоршня наполняется оливками, их высыпают в корзинку, и мы идем дальше, пока корзинки не наполнятся с верхом, и тогда их высыпают в большой полотняный мешок. Каждый раз, когда я возвращаюсь на место, я вижу, что Ханан опять позади всех, еле шевелит руками, как будто никуда не спешит. Она действительно очень отличалась от других, и я не могу вспомнить, чтобы мы с ней говорили, чтобы я занималась ею как-то особенно, кроме тех случаев, когда я помогала ей в сборе оливок. Или когда помогала ей заплетать ее густые волосы в толстую косу, а она делала то же для меня. Ее не было с нами в конюшне, она не ухаживала с нами за коровами, не стригла овечью шерсть... она чаще была с матерью на кухне, помогая ей по хозяйству. Может быть, поэтому она почти исчезла из моей памяти. И, однако, я считала и пересчитывала, стараясь расположить всех в порядке рождения: Нура, Кайнат, Суад, Ассад и...? Моей четвертой сестры больше не существовало, я потеряла даже ее имя. У меня случается иногда, что я не могу вспомнить, кто за кем идет. Я точно знаю о Нуре, точно знаю об Ассаде, но иногда путаю нас с Кайнат. Что же касается той, которую я называю Ханан, то самое худшее для меня то, что в течение многих лет я не спрашивала себя о ее исчезновении.

Я глубоко ее «забыла», как будто железные ворота закрылись за единокровной сестрой и сделали ее совершенно невидимой взгляду моей затуманенной памяти.

Но какое-то время назад вдруг внезапно возник образ, какое-то чудовищное видение пронеслось в моей голове. На собрании женщин кто-то показал мне фотографию мертвой девушки, распластавшейся на земле,

удушенной черным телефонным проводом. У меня было впечатление, что я видела что-то подобное. Эта фотография привела меня в смятение, но не только из-за несчастной убитой девушки, а потому что я искала как в тумане что-то, касающееся именно меня. И, как ни странно, на следующий день моя память вдруг пробудилась. Я была там! Я видела! Я знала, что моя сестра Ханан пропала.

И с тех пор я жила с этим новым кошмаром в голове, от которого была больна. Каждое точное воспоминание, каждая сцена моего прошлого существования, вдруг резко вернувшись в память, обостряли болезнь. Я хотела бы навсегда забыть эти ужасные вещи, и это мне бессознательно удавалось на протяжении почти двадцати лет. Но чтобы свидетельствовать о жизни ребенка и женщины в моей стране, о моей собственной жизни, я вынуждена погрузиться в свое сознание, как на дно того колодца, которого я так когда-то боялась. Все эти обрывки моего прошлого, всплывающие на поверхность, кажутся мне такими чудовищными, что больно в это поверить. Иногда я спрашиваю себя в полный голос, когда я одна: «Неужели я, в самом деле, пережила все это?»

Я существую, я там выжила. Другие женщины тоже пережили и продолжают жить в этом мире. Я хотела бы забыть, но нас, выживших, так мало, чтобы суметь рассказать, что я сочла своим долгом свидетельствовать и вновь пережить этот кошмар.

Я находилась в доме и услышала крики, потом увидела свою сестру, сидящую на полу, а мой брат Ассад склонился над ней, разведя в стороны руки. Он душил ее телефонным проводом. Я помню эту сцену, как будто пережила ее вчера. Я словно выросла в стену, так мне хотелось слиться с ней, исчезнуть. Я была с маленькими сестричками, закрывая их собой. Я держала их за волосы, чтобы они не шевелились. Ассад, должно быть, нас заметил или слышал, как мы подошли, и крикнул: «Пошли! Пошли вон! Убирайтесь!» Я побежала к цементной лестнице, ведущей в комнаты, таща за собой сестер. Одна из малышей так испугалась, что споткнулась и ударила ногу, но я силой заставила ее идти за мной. Я дрожала всем телом. Мы закрылись в комнате, и я стала утешать младшую сестренку. Я пыталась что-нибудь сделать с ее коленкой, и мы оставались там, все втроем, очень долго, стараясь не проронить ни звука, и этот кошмар стоял перед глазами.

Мой брат душил мою сестру. Должно быть, она говорила по телефону, и он подошел сзади, чтобы задушить ее... Она мертва, я уверена, что она мертва.

В тот день на ней были белые широкие шаровары и длинная, до колен,

рубаха. Она была босая. Я видела, как она сучила ногами, я видела, как она била руками моего брата по лицу, когда он кричал нам: «Убирайтесь!»

Телефон был черный, так мне кажется. Он стоял на полу в большой комнате, и шнур был очень длинным. Вероятно, она кому-то звонила, но не знаю кому и зачем. Не знаю, что я делала перед этим, где я была, что могла сделать Ханан со своей стороны, но, насколько мне известно, ничего в ее поведении не было такого, чтобы мой брат решил задушить ее. Я не понимаю, что произошло.

Я оставалась в комнате с малышками до тех пор, пока не пришла мать. Она куда-то уходила, и отец с ней. Ассад оставался с нами один. Я долго пыталась вспомнить, почему кроме него и нас никого не было в доме. Потом воспоминания выстроились в цепь.

В тот день мои родители пошли навестить жену моего брата к ее родителям, куда она убежала от его побоев, притом, что она была беременна. Вот почему мой брат один оставался дома с нами. Наверное, он был очень рассержен, как и любой мужчина, переживший подобное оскорбление. Как обычно, до меня доходили лишь отрывочные сведения о том, что происходило. Дочь никогда не присутствует на семейном совете, если возникает какой-то конфликт. Ее держат на расстоянии. Уже потом я узнала, что у моей невестки случился выкидыш, и ее родители обвиняли моего брата, что это произошло из-за него. Но в тот день никакой связи между этими двумя событиями не было. Что делала Ханан у телефона? Мы им пользовались очень редко. Я сама звонила по нему два-три раза, разговаривала со своей старшей сестрой, моей тетей или женой брата. Если Ханан кому-то и звонила, то, несомненно, кому-то из нашей семьи.

Когда этот телефон появился у нас в доме? В деревне в те времена это было большой редкостью... Мой отец стремился сделать дом более современным. У нас была ванная с горячей водой и вот телефон тоже...

Когда родители вернулись, я знаю, что мать говорила с Ассадом. Я видела ее плачущей, но теперь я знаю, что она только делала вид, что плачет. Сейчас я реалистка и давно поняла, как происходят подобные вещи в моей стране. Я знаю, почему убивают дочерей. Я знаю, как это происходит. На семейном совете принимается решение, и в роковой день родственников никогда не бывает дома. Только тот, кому поручено убить, остается с ней наедине.

Моя мать не плакала по-настоящему. Она не плакала! Это было кино! Она прекрасно знала, почему мой брат задушил мою сестру. Иначе, почему именно в тот день она с отцом и моей старшей сестрой Нурой ушла из дома? Почему оставила нас одних в доме с Ассадом? Единственное, чего я

не знаю, — это причина, из-за которой приговорили к смерти Ханан. Должно быть, она совершила грех, но не могу представить, какой. Вышла из дома одна? Кто-то видел ее разговаривающей с мужчиной? На нее донес кто-то из соседей? Даже такой малости достаточно, чтобы объявить девушку «шармутой», а это опозорит всю ее семью, и она должна будет умереть, чтобы отмыть честь не только родителей, своего брата, но и всей деревни.

Моя сестра выглядела более взрослой, более зрелой, чем я, хотя была младше по возрасту. Наверное, она совершила какую-то оплошность, о которой я никогда не узнаю. Девочки не откровенничали друг с другом. Они слишком боялись разговаривать, даже сестра с сестрой. Я об этом кое-что знаю, потому что меня тоже убивали.

Я очень любила своего брата. Мы все его любили, потому что он был единственным мужчиной в нашей семье, единственным защитником после отца. Если бы отец умер, то именно брат управлял бы домом, а если бы и он в свою очередь умер, в семье остались бы одни женщины, а такая семья пропадет. Не будет ни овец, ни земли, ничего больше. Самое худшее, что может произойти в семье, — это потерять единственного брата. Как жить без мужчины? Мужчина устанавливает свой закон и защищает нас, сын занимает место отца и выдает замуж своих сестер.

Ассад был таким же жестоким, как и наш отец. Он был убийцей, но это слово в моей стране не имеет никакого смысла, когда речь идет об умерщвлении женщины. Брат, муж сестры, дядя, неважно кто, имеют обязанность — защищать честь семьи. Они имеют право решать, жить или умереть их женщинам. Если отец или мать говорят сыну: «Твоя сестра согрешила, ты должен ее убить...», — он это исполняет ради чести семьи, таков закон.

Ассад был нашим обожаемым братом. Однажды он упал с лошади — он очень любил кататься верхом. Лошадь поскользнулась, и он упал. Я помню, что мы так плакали! От горя я разорвала свое платье, я рвала на себе волосы. К счастью, случай оказался нетяжелым, мы его вылечили. Но когда наш отец сломал ногу, мы были так рады, что готовы были плясать от радости. Даже сейчас я не могу осознать, что Ассад убийца. Вид моей задушенной сестры — это настоящий кошмар, но в тот момент я не могла обвинять его. То, что он сделал, было нормальным, его долг вынуждал согласиться сделать это, потому что это было необходимо для всей семьи. И я его любила.

Я не знаю, что они сделали с Ханан. Во всяком случае, она исчезла из дома. И я ее забыла. Не понимаю толком почему. Кроме страха в моей

жизни, конечно, была в то время какая-то логика: обычай, закон обязывали нас воспринимать эти вещи «нормально». Они становились преступлением и ужасами только там, на Западе, в других странах, где и законы другие. Я сама должна была умереть, и тот факт, что я чудом выжила вопреки привычному закону, долгое время нарушал мое сознание. Сейчас я догадываюсь, что должна была пережить шок, а мой собственный опыт распространил, расширил этот шок до такой степени, что у меня возникла амнезия на некоторые события. Об этом мне рассказал психиатр.

Вот так Ханан исчезла из моей жизни и из моей памяти. Возможно, ее похоронили там же, где и новорожденных девочек. Возможно, ее сожгли и закопали в овраге или в поле. Возможно, бросили ее труп собакам? Я не знаю. Во взгляде тех людей, которым я рассказывала о своей прежней жизни, сквозило непонимание. Они задавали вопросы исходя из своей логики: «А полиция приходила? Разве никто не поинтересовался, куда исчезла девушка? А что говорили люди в деревне?»

Никогда в жизни я не видела полиции. Пропавшая женщина — это пустяк, ничто. А люди в деревне согласны с законом, установленным мужчинами. Если не убить дочь, которая опозорила семью, люди из деревни отвернутся от этой семьи, никто не захочет с ней разговаривать, торговать с ней, семья будет вынуждена уехать! Вот так...

Глядя отсюда, моя сестра получила судьбу худшую, чем моя. Но ей повезло в том, что она умерла. По крайней мере, она не страдала.

Я до сих пор слышу крики моей сестры. Как она жутко кричала! Мы с Кайнат какое-то время боялись за собственные жизни. Каждый раз при виде отца, брата или мужа сестры мы опасались какого-либо зла с их стороны. Порой мы не могли заснуть. Я то и дело просыпалась по ночам. Постоянно чувствовала угрозу. Ассад все время был злой и жестокий. Он не имел права пойти навестить свою жену: она выписалась из больницы и напрямик вернулась к своим родителям, потому что муж слишком сильно ее избивал. Но потом она все же вернулась жить к нему, таков закон. Она родила ему других детей — к счастью, сыновей. Мы гордились им, мы так его любили, даже, несмотря на страх, который он нам внушал. Мне только непонятно, как это я ненавидела отца и обожала брата, если они, в конце концов, были так похожи.

Выйди я замуж в своей деревне, я бы сделала совершенно так, как и другие женщины, — подчинилась, не пытаюсь протестовать, если Ассаду было бы поручено задушить одну из моих дочерей. Невыносимо думать и говорить об этом здесь, но для нас, там, это было в порядке вещей.

Сейчас все по-другому, потому что в своей деревне я умерла. Второй

раз я родилась в Европе. И в моем сознании теперь другие мысли.

Однако я по-прежнему люблю своего брата. Это как корень оливкового дерева, который нельзя выкорчевать, даже если дерево упало.

Зеленый помидор

Я чистила конюшню каждое утро. Она была очень большой, а запах стоял невыносимый. Вычистив конюшню, я оставляла дверь открытой, чтобы немного ее проветрить. Большая влажность и солнечное пекло образовывали внутри конюшни пар. Мы наполняли ведра навозом, я ставила ведро на голову и несла его в огород для высушивания. Конский навоз служил для удобрения огорода. Мой отец говорил, что это самое лучшее удобрение. Овечьи кругляшки годились для печи, в которой выпекали хлеб. Когда они хорошенько подсыхали, я садилась на землю и месила их руками, чтобы слепить небольшие лепешки, которые складывала в кучу, и ими топили печь.

Мы выводили овец на луга рано утром, а потом возвращались за ними, чтобы привести домой, когда солнце стояло еще высоко, часов в одиннадцать. Овцы ели и спали. Я тоже возвращалась домой, чтобы пообедать. Масло в чашке, горячий хлеб, чай, оливки, фрукты. Вечером ели курицу, кролика или ягненка. Почти каждый день мы ели мясо с рисом или пшеничной крупой, которую делали сами. Все овощи выращивались на огороде.

Когда днем на дворе было очень жарко, я работала по дому. Месила тесто для хлеба. Кормила маленьких ягнят. Я поднимала их за шкурку, как котят, и прикладывала к вымени матери, чтобы они смогли сосать. Их всегда было много, поэтому я занималась ими по очереди. Насосавшегося досьята я клала на место, брала другого, и так до тех пор, пока все не наедятся. Потом я занималась козами, которые содержались в той же конюшне, но отдельно. У двух лошадей был свой угол, и, кроме того, там было еще четыре коровы. На самом деле эта конюшня была просто огромной: наверное, больше шестидесяти овец, не меньше сорока коз. Лошади весь день были на выпасе, на лугу, их заводили только на ночь. Они предназначались исключительно для прогулок отца и брата, но никогда для нас. Когда работа на конюшне была закончена, и я собиралась уходить, я оставляла дверь открытой из-за жары, но животные не могли выйти, так как выход был перегорожен тяжелой деревянной балкой.

Потом, когда солнце немного садилось, надо было заниматься огородом. Там росло много помидоров, и их надо было собирать почти ежедневно, по мере созревания. Однажды по ошибке я сорвала зеленый помидор. Я никогда его не забуду, этот помидор! Я часто вспоминаю о нем,

когда готовлю на кухне. Он был наполовину желтый, наполовину красный, и только начинал зреть. Я, было, подумала, что надо его припрятать, вернувшись в дом, но оказалось слишком поздно — отец уже вернулся. Я знала, что не должна была срывать его, но я очень быстро действовала обеими руками. Мои движения были уже механическими, пальцы поворачивались вокруг помидорного растения слева, справа, слева, справа и так до самого основания... И когда последний помидор, который получил меньше всего солнца, оказался в моей руке, я сорвала его, не задумываясь. И он оказался сверху, на самом виду в моей корзине. Отец заорал: «Ты что, спятила? Не видишь, что делаешь? Рвешь зеленый помидор! Дурища!»

Он ударил меня, потом раздавил этот помидор о мою голову, так что мякоть полилась на лицо. «Жри теперь этот помидор!» И он силой запихнул его мне в рот, размазав остатки по лицу. Я думала, что его все же можно было съесть, но он оказался кислым, очень горьким, противным. С усилием я проглотила его. После этого я не хотела больше есть, я плакала, меня затошнило. Но отец ткнул меня головой в тарелку и заставил, есть из нее пшеничную кашу, как собаку. Я не могла шевельнуться, он грубо держал меня за волосы, мне было больно. Младшая сестренка по отцу стала смеяться, глядя на меня. И он залепил ей такую затрещину, что у нее вылетела изо рта вся еда, и она заплакала. Я пыталась сказать ему, что мне больно, но он только сильнее вдавливал мое лицо в кашу. Он вывалил кашу из тарелки, брал пригоршни и запихивал мне в рот, он был взбешен. Потом он вытер руки полотенцем, бросил его мне на голову и, выйдя из комнаты, уселся спокойно в тени на веранде.

Обливаясь слезами, я вынула лицо из тарелки. Все лицо, глаза, волосы были в каше. И я стала подметать пол, как делала это всегда, чтобы собрать каждую крупинку, выпавшую из руки отца.

На многие годы у меня из памяти выпали такие важные события, как исчезновение одной из моих сестер, но я никогда не забывала об этом зеленом помидоре и том унижении, когда со мной обращались хуже, чем с собакой. Но самым мерзким было видеть его, всемогущего царя, сидящего в тени в послеобеденной дремоте после исполнения почти ежедневной взбучки. Он был символом рабства, которое я воспринимала как норму, склоняя голову и подставляя спину под удары, как и мои сестры, как и моя мать. Но сегодня я переполнена ненавистью. Как я хотела бы, чтоб он задохнулся под своим платком.

Такова была наша повседневная жизнь. К четырем часам мы выгоняли овец и коз и пасли их до самого захода солнца. Моя сестра шла всегда впереди стада, а я шла сзади с палкой, чтобы подгонять нерасторопную

скотину и особенно для устрашения коз. Они всегда были очень проворными, готовыми мчаться куда угодно. Дойдя до луга, мы могли спокойно передохнуть, там были только стадо и мы вдвоем. Я брала с собой арбуз и стучала им по камню, чтобы разбить. Наши платья бывали, выпачканы сладким арбузным соком, и мы боялись, что нас застанут грязными, когда мы вернемся. Поэтому, как только мы возвращались в конюшню, мы их стирали прямо на себе, чтобы родители ничего не заметили. К счастью, платья высыхали очень быстро.

Солнце приобретало особенный желтый цвет и склонялось к горизонту, небо из синего становилось серым; надо было вернуться раньше, чем наступит ночь. Но поскольку ночь у нас наступает стремительно, надо было действовать со скоростью солнца, считать шаги, жаться к стенам, железные ворота снова защелкивались за нами.

После этого наступало время дойки коров и овец. Я помню, что у меня постоянно болели руки. Огромный бидон под брюхом коровы, низкая скамеечка почти на уровне земли. Я зажимала ногу коровы между своими ногами, чтобы она не могла ею пошевелить, и чтобы молоко в ведре не пролилось. Если хоть немного молока, пусть даже несколько капель, попадет на землю — это будет последний день моей жизни! Коровьи соски такие толстые, такие упругие, потому что они наполнены молоком, а мои ручки такие маленькие. Руки болели, я доила уже давно и выбилась из сил. Однажды у нас в конюшне было шесть коров, и я заснула прямо над ведром, зажав коровью ногу. К несчастью, в конюшню зашел отец и заорал: «Шармута! Потаскуха!» Отец ударил меня по лицу, вопя, что из-за меня не досчитается сыра! Он выволок меня за волосы из конюшни и стал пороть ремнем. Я проклинала этот широкий кожаный ремень, который он носил на поясе вместе с узким. Узкий ремень бил очень больно. Он держал его в руке, как плетку, и бил со всего размаху. Большой ремень он складывал вдвое, и тот становился очень тяжелым. Я умоляла его, я плакала от боли, но чем больше я кричала, тем сильнее он бил меня, обзывая потаскухой.

Вечером, за ужином, я всё еще плакала. Мать пыталась спросить меня, в чем дело. Она видела, что отец избил меня в этот вечер до полусмерти, но он набросился на нее тоже, говоря, что это ее не касается, что ей вовсе не обязательно знать, за что я бита, потому что я сама знаю за что.

Обычный день в нашем доме, это когда мне дают пощечину или пинают ногой под предлогом того, что я недостаточно быстро работаю, что слишком долго кипятила воду для чая... Иногда он бил меня по голове, но не часто. Я не помню, так ли часто, как меня, били мою сестру Кайнат, но думаю, что да, потому что она боялась так же сильно, как и я. Во мне

сохранился этот рефлекс работать быстро, ходить быстро, как будто меня постоянно подхлестывают ремнем. Осла на дороге подгоняют ударами палки. Если удары не сыплются, осел останавливается. Что-то подобное было и с нами, только отец бил нас гораздо сильнее, чем осла. На следующий день я была избита еще раз, просто из принципа, чтобы не забыла вчерашней порки. Чтобы шла вперед, не засыпая, как осел на дороге.

Осел наводит меня на другое воспоминание, касающееся моей матери. Вспоминаю, как однажды мы вели стадо на пастбище, как обычно, потом быстро пошли домой, потом спешили вычистить конюшню. Мать была со мной, она торопила меня, потому что мы должны были еще идти собирать инжир. Надо было нагрузить на спину ослу несколько ящичков и довольно долго идти из деревни. Я не могу точно определить, когда это происходило, но кажется, что это утро было недалеко от того дня, когда произошла история с зеленым помидором. Это был конец сезона, потому что фиговое дерево, у которого мы остановились, было голым. Я привязала осла к стволу этого дерева, чтобы он не смог поедать плоды и опавшие на землю листья.

Я начала собирать инжир, а мать мне говорит: «Послушай-ка, Суад! Ты останешься здесь с ослом, соберешь весь инжир по краю дороги, но никуда не отходи от этого дерева. Никуда не смей уходить. Если увидишь, что отец едет на своей белой лошади, или брат, или идет кто-нибудь другой, свистни мне, и я тут же вернусь». И она пошла вдоль дороги по направлению к всаднику на лошади, который стоял и ждал. Я его узнала, его звали Фадель. У него была совершенно круглая голова, он был маленький и очень сильный. Лошадь у него была ухоженная, вся белая, с черным пятном, хвост заплетен в косу до самого низа. Не знаю, был ли он женат.

Моя мать изменяла отцу с ним. Я поняла это, когда она велела мне свистеть, если покажется кто-то другой. Всадник исчез у меня из виду, и моя мать вместе с ним. Я добросовестно собирала инжир по краю дороги. Его было немного в этом месте, но я не имела права пойти поискать его где-то еще, иначе я не увидела бы, как подходит отец или кто-то другой.

Странно, но эта история меня не удивила. И в моей памяти не осталось от нее чувства опасности. Возможно, потому, что моя мать очень хорошо продумала свой план. Осел был привязан к стволу голого дерева, он не мог поедать ни плоды, ни листья, как это обычно происходит в разгар сезона, а значит, мне нет необходимости следить еще и за ослом, и я могу работать одна. Я отходила на десять шагов в одну сторону, на десять шагов в

другую, собирала упавшие плоды и складывала их в ящик. Передо мной была как на ладони дорога, ведущая к деревне, я могла сразу увидеть издали того, кто по ней шел, и вовремя свистнуть. Я не видела ни Фадея, ни мать, но они, должно быть, шагах в пятидесяти укрылись где-то в поле. Значит, в случае чего она могла сказать, что отошла туда по срочной необходимости. Мужчина, будь то отец или брат, никогда не станет задавать непристойные вопросы по этому поводу. Это было бы стыдно.

Я не очень долго оставалась одна: ящик еще не был полон, когда они вернулись по отдельности. Мать вышла с поля. Я увидела, как Фадель садится на лошадь. Ему не удалось запрыгнуть в седло с первого раза, такая высокая у него была лошадь. Он держал красивый деревянный хлыст, такой тонкий, и перед тем, как скрыться, улыбнулся матери.

А я сделала вид, что ничего не видела.

Дело было сделано очень быстро. Может, они занимались любовью где-то в поле, укрывшись в траве, а может быть, встретились, чтобы просто поговорить, я не хотела этого знать. Я не имела права спрашивать, чем они занимались, или изображать удивление, меня это совершенно не касалось. Мать не откровенничала со мной. Она знала, что я ничего не скажу об этом, иначе меня забьют до смерти, как и ее. Мой отец не умеет ничего другого, кроме как избивать женщин и заставлять их работать, чтобы получать деньги. И если моя мать занималась любовью с другим мужчиной под предлогом доставки отцу ящиков с инжиром, я этому, в конце концов, только радовалась. И она была совершенно права.

Теперь мы должны были собирать инжир очень быстро, чтобы оправдать наше долгое отсутствие. Иначе отец спросит: «Ты привезла пустые ящики, что ты делала все это время?» А мне достанется ремня.

Мы были довольно далеко от деревни. Мать забралась на осла, села близко к голове, обхватив его шею ногами, чтобы не передавить собранные плоды. Я шла впереди, ведя за собой осла по дороге, и мы были тяжело нагружены. Скоро мы нагнали одинокую старую женщину, тоже с ослом, нагруженным инжиром. Ввиду преклонного возраста ей не обязательно было иметь сопровождение, она шла перед нами. Моя мать поздоровалась с ней, и мы пошли дальше по дороге вместе. Дорога была узкой и плохой, вся в рытвинах, буграх и камнях. Местами она резко шла в гору, и осел с трудом продвигался вверх со своей ношей. В один момент он остановился как вкопанный на верху склона перед крупной змеей и отказался идти дальше. Мать пыталась его подтолкнуть, хлопала его по боку, но он ни в какую. Наоборот, он хотел сдать назад, ноздри его трепетали от страха, как и у меня. Я ненавижу змей. Поскольку склон был, в самом деле, очень

крутой, ящики качались у него на спине, рискуя перевернуться. К счастью, оказалось, что старуха, которая шла с нами, совсем не испугалась этой довольно крупной змеи. Не знаю, как она это сделала, но я только видела, как извивается свернувшееся змеиное тело. Вероятно, она ударила по ней своей палкой... и, в конце концов, змея уползла в лощину, а осел смог продолжить свой путь.

Вокруг деревни было множество змей, и больших, и малых. Мы видели их каждый день и очень боялись, как боялись наступить на мину. Со времен израильской войны мины попадались повсюду. Никогда не знаешь, не погибнешь ли ты, случайно наступив на нее ногой. Во всяком случае, я слышала, что дома об этом говорили, когда к нам приходили мой дед по отцу или дядя. Мать всегда предупреждала нас о минах, почти неразличимых среди камней, и я всегда внимательно смотрела перед собой, опасаясь смертельной встречи. Я не помню, натыкалась ли я хотя бы раз на мину, но знаю, что опасность была постоянной. Лучше было не поднимать камни, тщательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину. Что касается змей, то они заползали даже в дом, в амбар, прячась между мешками с рисом или в тюках соломы на конюшне.

Отца не было дома, когда мы вернулись. Это было очень кстати, потому что мы сильно задержались, было уже десять часов. В это время солнце стоит высоко, сильно припекает, и спелый инжир может растрескаться и стать мягким. Он должен быть в отличном состоянии, хорошо уложен в ящики, чтобы отец смог его продать на рынке.

Я очень любила раскладывать инжир по ящикам. Я выбирала красивые фиговые листья, большие и ярко-зеленые, и выстилала ими дно ящика. Затем аккуратно укладывала плоды, словно это дорогие украшения, накрывала большими листьями, чтобы защитить их от солнца. Для винограда я делала то же самое. Дно ящика я выстилала виноградными листьями, а потом укрывала гроздья винограда от палящего солнца, чтобы они оставались свежими.

Был также сезон цветной капусты, кабачков, баклажанов, помидоров и тыкв, а еще отец продавал сыры, которые я должна была делать. Я наливала молоко в большое металлическое ведро. Снимала весь желтый жир, который образовывался по краю, сливки сливала отдельно, чтобы приготовить лабан, который продавался в отдельных пакетах на рамадан. Изготовлением пакетов из толстого пластика занимался отец. В такой упаковке продукт не портился. Пакеты складывались в большие ведра, на каждом пакете была надпись по-арабски «лабан».

Из халиба — молока — я готовила вручную йогурт и сыр. У меня была

белая прозрачная ткань и железная кружка. Сначала я наполняла кружку по самый край, чтобы сыр имел всегда один и тот же вес. Затем выливала содержимое в ткань, завязывала узел и сильно сжимала, чтобы жидкость стекала в сосуд. Когда в сыре уже не оставалось влаги, я выкладывала его на золотистый поднос, покрытый тканью, чтобы солнце и мухи не испортили его. Затем я упаковывала его в белые пакеты, которые отец также надписывал. Сыры были такие красивые в упаковке! Отец ходил на рынок почти ежедневно, когда наступал сезон сбора овощей и фруктов. Молоко и сыр продавали два раза в неделю.

Отец садился за руль своего грузовичка только тогда, когда все было погружено, и горе нам, если мы не успеем управиться вовремя. Мать садилась вперед, рядом с отцом, а я устраивалась позади, зажатая посреди ящиков. Дорога занимала добрых полчаса. По приезду я увидела большие дома. Это был город. Симпатичный городок, чистенький. Там были светофоры, у которых останавливались машины. Красивые лавки. Я запомнила одну витрину с манекеном в свадебном платье. Но я не имела права гулять там, а тем более зайти в лавку. Я смотрела на все раскрыв рот и выворачивала шею, чтобы разглядеть город как можно лучше. Я ведь никогда этого раньше не видела.

Я хотела бы побывать в этом городе, но когда я увидела девушек, идущих по тротуару в коротких платьях и с голыми ногами, мне стало стыдно. Если бы я встретила их поближе, я бы плюнула им вслед: шармуты... По-моему, это было отвратительно. Они шли совсем одни, без родителей. Я сказала себе, что они никогда не смогут выйти замуж. Ни один мужчина их не захочет взять в жены, потому что они показывали свои ноги, и губы их были накрашены помадой. И я не понимала, почему их до сих пор не заперли.

Теперь-то я понимаю, что жизнь в деревне не изменилась с тех пор, как родилась моя мать, а до нее ее мать, и еще раньше до них... Разве этих девочек избивали так, как меня? Разве они работали так, как я? Были такими рабынями, как я? Мне нельзя было отойти на сантиметр от отцовского грузовика. Он следил за разгрузкой ящиков, доставал деньги, и по одному его жесту я, как осел, покорно лезла внутрь, довольствуясь тем, что могу передохнуть от работы и рассматривать недосыгаемые лавки через щелки между ящиками с фруктами.

Рынок был очень большим. Над ним простиралось что-то вроде навеса, увитого виноградом, который создавал тень для фруктов. Это было очень красиво. Отец был счастлив, когда все продали. Перед закрытием рынка он пошел навестить продавца, один, и я видела, что в руке он несет

деньги. Он их считал и складывал в холщовый мешок, завязанный шнурком. Этот мешок он надел на шею. Именно благодаря деньгам, заработанным на рынке, он мог осовременивать наш дом.

Я любила ездить на грузовичке, потому что это было время отдыха. Во время пути я ничего не делала, а просто спокойно сидела. Но когда мы приезжали на рынок, надо было пошевелиться, быстро таскать ящики. Мой отец хотел показать, что его жена и дочь умеют хорошо работать. Я всегда была с матерью. Он никогда не брал меня с кем-то из сестер.

Когда с ними ездила моя сестра, я ходила за водой, чтобы вымыть двор и чтобы солнце успело его высушить. Я готовила еду и пекла хлеб. Сидя на земле, я насыпала муку на большое блюдо, смешивала с водой и солью и месила тесто руками. Затем я оставляла тесто под белой тряпицей и ждала, чтобы оно поднялось. Тем временем я разжигала печь, чтобы она хорошенько разогрелась. Печь была большой, как маленький домик, накрытый деревянной крышей, а внутри железная духовка постоянно горячая. Угли в ней тлели все время, но надо было добавить огня, чтобы печь хлеб.

Поднимающееся тесто — это чудо... я обожала печь хлеб. В тесте для красоты я делала дырку, перед тем как посадить хлеб в печь. Чтобы тесто не прилипало к рукам, я погружала их в мешок с мукой, мяла это тесто, и оно становилось все белей и мягче. Это должна быть большая великолепная лепешка, круглый плоский хлеб всегда одной и той же формы. Иначе отец швырнет мне его в лицо. Когда хлеб был готов, я чистила печь и собирала золу. Когда вылезала оттуда, мои волосы, лицо, брови и ресницы были серыми от золы. И я стряхивала ее с себя как блохастая собака.

Однажды я была в доме, и вдруг мы заметили дым, выходящий из-под крыши печи. Мы с сестрой побежали посмотреть, что там произошло, и начали звать на помощь. Отец пришел с водой. В печи был огонь, и в ней все сгорело. Внутри были какие-то черные обгорелые куски, похожие на козий помет. Я забыла вынуть хлеб из печи и плохо вычистила золу. Оставшиеся угольки разгорелись, и вспыхнул огонь. Это была моя вина. Я не должна была оставлять хлеб, а главное — не забывать счищать золу кусочком дерева, чтобы погасить угли.

Это была моя вина, что в печи для хлеба вспыхнул пожар, и это была худшая из катастроф.

И мой отец бил меня так сильно, как никогда прежде. Он пинал меня ногами, колотил палкой по спине. Он схватил меня за волосы, повалил на колени и ткнул лицом в золу, которая, к счастью, уже остыла. Я задыхалась,

я плевалась, зола забила мне рот и ноздри, и глаза мои стали красными. Для наказания он заставил меня есть золу. Когда он меня отпустил, я плакала, я была вся черная и серая, с красными, как помидоры, глазами. Вина моя была очень велика, и если бы здесь не было матери и сестры, я думаю, отец швырнул бы меня в огонь, прежде чем его погасить.

Надо было заново строить печь из кирпичей, и работа эта продолжалась долго. Каждый день я слышала оскорбления и грубые слова. Понурившись, уходила на конюшню, опустив голову, подметала двор. Думаю, что отец действительно меня ненавидел, а ведь, кроме этого случая, я работала по-настоящему хорошо.

Я стирала белье после обеда, пока не настанет ночь. Я занималась всем бельем в доме, я вытряхивала бараньи шкуры, я подметала, я готовила, кормила скотину, чистила конюшню. Минуты отдыха были очень редки.

По вечерам мы никогда не выходили. Отец с матерью выходили очень часто, они шли к соседям, к друзьям. Мой брат тоже шел куда хотел, но мы никогда. У нас не было друзей, даже наша старшая сестра никогда не приходила нас навестить. Единственным посторонним человеком, которого я иногда видела в доме, была соседка Энам. У нее на глазу было бельмо, люди смеялись над ней, и все знали, что она никогда не была замужем.

С террасы мне была видна вилла богатых людей. Они сидели на своей освещенной террасе, я слышала их смех, видела, как они едят на свежем воздухе, даже поздно вечером. А мы были заперты у себя в доме и сидели по своим комнатам, как кролики в клетках. В деревне я помню только эту богатую семью, что жила недалеко от нас, и старую деву Энам, всегда одну, на пороге своего дома. Единственным развлечением была поездка на рынок на отцовском грузовичке.

А минуты отдыха были так редки... Когда мы не работали для себя, то шли помогать другим жителям деревни, они делали то же самое для нас. В деревне было довольно много девочек примерно одного возраста, нас сажали в автобус и везли на уборку цветной капусты на большое поле. Я хорошо помню — целое поле цветной капусты! Оно было таким огромным, что конца-края не видно, и нам казалось, что мы не сможем собрать весь урожай. Шофер был таким маленьким, что подкладывал подушку на сиденье, чтобы вести автобус. У него была чудная круглая голова, совсем крошечная, с короткими волосами.

Весь день мы на карачках срезали капусту, все девочки стояли рядком, как обычно, и за нами следила пожилая женщина с палкой. Чтобы пошевеливались. Капустные кочаны мы складывали большой кучей в

грузовик. Когда день стал клониться к вечеру, мы оставили грузовик на поле, а сами сели в автобус и поехали в деревню. По краям дороги росло много апельсиновых деревьев. И поскольку мы очень хотели пить, шофер остановил автобус и разрешил сорвать по апельсину и быстро вернуться.

«Один апельсин и халас!», что означало: «один и всё!».

Все девочки бегом устремились в автобус, и шофер, который остановился на узкой дорожке, дал задний ход. Вдруг он резко заглушил мотор, выскочил и принялся кричать так сильно, что все девочки в испуге повыскакивали из автобуса.

Он задавил одну из девушек. Ее голова попала под колесо. Поскольку я была прямо перед ней, я хотела приподнять ее голову за волосы, надеясь, что она еще жива. Но голова прилипла к земле, и я от ужаса упала в обморок.

Потом, я помню, я снова оказалась в автобусе на коленях у женщины, которая за нами присматривала. Шофер останавливался у каждого дома, чтобы высадить девочек, потому что мы не имели права вернуться одни, даже в деревне. Когда меня высадили у моего дома, смотревшая за нами женщина объяснила моей маме, что я больна. Мама уложила меня и дала пить. В тот вечер она была со мной очень ласкова, потому что женщина ей все объяснила. Она была вынуждена рассказывать о происшествии в каждом доме, каждой матери, а шофер терпеливо ждал. Возможно, для того, чтобы все говорили потом одно и то же.

Странно, что произошло именно с этой девушкой. Когда мы собирали цветную капусту, она была все время в середине ряда, и никогда с краю. У нас, когда одну девушку так опекают другие, означает, что она способна убежать. Я заметила, что эта девушка была со всех сторон окружена другими, что она не могла перейти на другое место в ряду. Мне это казалось странным, особенно потому, что с ней никто не разговаривал. На нее даже нельзя было смотреть, потому что она шармута, а если с ней поговоришь, то и нас могли также назвать «шармута». Случайно ли шофер на нее наехал? Слухи еще долго ходили по деревне. Приезжала даже полиция, трое полицейских, чтобы нас допросить, нас собрали на том поле, где все произошло. Для нас это было что-то необыкновенное — видеть мужчин, одетых в форму. Нам нельзя было смотреть им в глаза, мы должны были отнестись к ним с уважением, мы находились под огромным впечатлением. Мы точно показали место. Я наклонилась. Там была искусственная голова, которую я подняла руками. Они мне сказали: «Халас, халас, халас...» Все на этом закончилось.

Мы опять сели в автобус. Шофер плакал! Он вел быстро и как-то

чудно. Автобус подсакивал на дороге, и я помню, что приглядывавшая за нами женщина держала руками свои груди, потому что они также подсакивали. Шофера посадили в тюрьму. Для нас же, для всей деревни это не было каким-то особенным происшествием.

Долгое время я болела. Мне часто вспоминалось, как я приподнимаю раздавленную голову этой девушки, и боялась своих родителей из-за того, что говорили о ней. Должно быть, она сделала что-то нехорошее, но я не знаю, что именно. Во всяком случае, говорили, что она была шармута. Я не спала ночами, я все время видела эту раздавленную голову, я слышала звук колеса, когда автобус подал назад. Никогда я не забуду эту девушку. Несмотря на все страдания, которые я сама пережила, эта картинка осталась в моей памяти. Ей было столько же лет, что и мне. У нее были короткие волосы, очень красивая стрижка. То, что у нее была стрижка, было тоже очень странно. Девушки из деревни никогда не стригли волосы. А почему она? Она отличалась от нас, одевалась лучше. Что делало из нее шармуту? Я никогда этого не знала. Но зато я знала это для себя.

По мере того как я выросла, я с большой надеждой ожидала, что кто-нибудь посватается ко мне. Но никто не сватался к Кайнат, и казалось, что это ее совершенно не трогает. Однако если она уже смирилась с тем, что останется старой девой, то мне такая ее участь казалась просто ужасной, равно как и моя, потому что мне следовало ждать своей очереди.

Я уже начала испытывать стыд, когда бывала на свадьбах у других, от страха, что надо мной будут смеяться. Выйти замуж — для меня это было самым лучшим, синонимом свободы. И, однако, даже выйдя замуж, женщина рисковала своей жизнью при малейшем нарушении правил. Я вспоминаю эту женщину с четырьмя детьми. Ее муж работал каким-то служащим в городе, потому что он всегда носил пиджак. Когда я замечала его издали, он всегда шел быстрым шагом, а следом за ним поднималась пыль.

Его жену звали Сухейла, и однажды я слышала, что мать говорила, будто бы вся деревня судачит о ней. Люди поговаривали, что у нее связь с владельцем магазина, потому что она часто ходит туда покупать хлеб, овощи и фрукты. Может быть, у нее не было такого большого огорода, как у нас. Может быть, она встречалась тайком с этим мужчиной, как моя мать с Фаделем. Однажды мать рассказала, что два ее брата пришли к ней в дом и отрезали ей голову. Тело они бросили на полу, а сами пошли по деревне с отрезанной головой. Еще она говорила, что когда муж пришел с работы, он очень обрадовался, что его жена умерла, потому что подозревал, что она

что-то имеет с хозяином магазина. При этом она не была очень красивой, да к тому же у нее было четверо детей.

Сама я не видела этих людей, прогуливающихся по деревне с отрезанной головой своей сестры, я только слышала, как об этом рассказывала мать. Я была довольно взрослой, чтобы понимать, но мне не было страшно. Возможно, потому, что я сама этого не видела. Мне казалось, что в моей семье никто не может быть шармутой, что подобные вещи никогда не произойдут со мной. Провинившаяся женщина была наказана, а это нормально. Более нормально, чем девушка моих лет, задавленная на дороге.

Я не понимала, что простые пересуды, предположения соседей, даже ложь могут из любой женщины сделать шармуту и привести ее к смерти ради чести других.

Это то, что называется преступлением во имя чести, «Яримат аль Шараф», а для мужчин в моей стране это не является преступлением.

Кровь новобрачной

Родители Хуссейна пришли сватать Нуру. Они приходили много раз, чтобы обговорить этот вопрос, потому что у нас, когда женятся на девушке, ее покупают за золото. Поэтому родители Хуссейна пришли с золотом, они положили это золото на красивое позолоченное блюдо, и отец Хуссейна сказал: «Ну вот, половина для Аднана, отца, а другая половина — для его дочери, Нуры».

Если золота недостаточно, вопрос обговаривается. Обе части значительны, потому что в день свадьбы дочь должна продемонстрировать гостям то золото, за которое ее продал отец.

Все это огромное количество золота, которое будет надето в день свадьбы, не для Нуры. Множество браслетов, кольцо, диадема — все это нужно для ее чести и чести ее родителей. Это не для ее будущего и не для нее самой, но зато она сможет пройтись по деревне, а люди скажут, глядя на нее, сколько золота она принесла своим родителям. Если на девушке в день свадьбы не будет драгоценностей, это ужасный позор, как для нее, так и для ее семьи. Мой отец забыл сказать нам это, когда кричал на своих дочерей, что даже от овцы толку больше. Когда он продает свою дочь, он имеет право на половину золота!

Поэтому он может торговаться. Все это происходит между родителями, помимо нас. Когда сделка заключена, никаких бумаг не подписывают, принимается во внимание слово мужчин. И только мужчин. Женщины не имеют права голоса — ни моя мать, ни мать Хуссейна, равно как и будущая невеста. Еще никто не видел золота, но все знают, что договорились о свадьбе, потому что семья Хуссейна приходила к нам. Но не надо раньше времени вмешиваться, себя показывать, надо уважать торг мужчин.

Моя сестра Нура знает, что мужчина пришел к нам в дом со своими родителями, значит, вскоре она точно выйдет замуж. Она очень рада. Она говорит мне, что ей очень хочется красиво одеваться, выщипывать брови, ей хочется иметь собственную семью и детей. Нура очень скромная, у нее красивое лицо. Тем не менее, она беспокоится, когда мужчины обсуждают сделку, ей хочется узнать, много ли золота они принесли, она молит Бога, чтобы они сговорились.

Она не знает, на кого похож ее будущий муж, она не знает, сколько ему лет, она не спрашивает, каков он собой. Стыдно задавать такие вопросы.

Даже мне, хотя я могла бы спрятаться где-нибудь, чтобы посмотреть на него исподтишка. Может быть, она боится, что я пойду сказать родителям.

Через несколько дней мой отец позвал Нуру и в присутствии матери сказал ей: «Ну вот, ты выйдешь замуж в такой-то день». Я при этом не присутствовала, потому что не имею права быть с ними.

Я даже не должна говорить: «Я не имею права», — оно, это право, просто не существует. Таков обычай. Это так, и никак иначе. Если отец скажет тебе: «Оставайся в этом углу на всю жизнь», — ты останешься в этом углу на всю свою жизнь. Если отец положит тебе в тарелку одну оливку и скажет: «Сегодня ты можешь съесть только это», — ты съешь только эту оливку. Очень трудно вылезти из этой шкуры покорного раба, потому что, будучи девочкой, ты рождаешься с этим, и в течение всего детства этот образ жизни, когда ты не существуешь сама по себе, а только подчиняешься мужчине и его закону, постоянно поддерживается отцом, матерью, братом. И единственным выходом из этого рабства кажется замужество, но и там становишься рабыней мужа.

Когда моя сестра Нура обрела так сильно желаемый ею статус, мне было, я полагаю, не менее пятнадцати лет. Но может быть, я и ошибаюсь, и даже намного, потому что чем больше я размышляю и стараюсь привести в порядок свою память, тем сильнее осознаю, что моя жизнь в то время не имела приметных вех, известных в Европе. Ни дней рождения, ни фотографий. Это была жизнь маленького животного, которое ест, работает изо всех сил, спит и получает побои. Затем наступает зрелость, то есть с этого времени малейший неверный шаг навлекает на твою голову гнев общества. Начиная с этого возраста зрелости следующим этапом жизни становится замужество. Нормально, если зрелость наступает в десять лет, а замужество совершается между четырнадцатью и семнадцатью годами, но не позднее. Нура уже приближалась к предельному возрасту для замужества.

Итак, семья начала готовиться к свадьбе, оповещать соседей. Поскольку дом был не слишком большим, предстояло снять общественный двор для приемов. Это очень симпатичное место, что-то вроде цветущего сада, где растет виноград и есть площадка для танцев. Там есть также крытая веранда, в которой можно укрыться в тени, и там же находится невеста.

Мой отец выбрал барашка. Берут всегда самого молодого ягненка, потому что мясо у него нежное и будет вариться недолго. Если мясо будет вариться долго, тогда скажут, что отец не слишком богат, раз взял старого барана и не приготовил вкусное угощение. Его репутация в деревне

пострадает, а репутация его дочери и того больше.

Поэтому отец и выбирает барашка сам. Он идет в стойло, ловит того, которого выбрал, и тащит в сад. Там он связывает ему ноги, берет нож и одним ударом лезвия перерезает шею. Затем он берет баранью голову и поворачивает ее над большой миской, в которую стекает кровь. Я с отвращением смотрю на эту кровь. Ноги барашка еще дергаются. На этом работа отца заканчивается, и за дело принимаются женщины. Они кипятят воду, чтобы промыть тушу изнутри. Требуху не едят, но она, вероятно, для чего-то пригодится, потому что ее аккуратно откладывают в сторону. Затем надо снять шкуру, и этой тонкой работой занимается моя мать. Шкура не должна быть нигде повреждена. Она должна быть целой. Барашек лежит на земле, выпотрошенный и чистый. Своим большим ножом мать отделяет кожу от мяса. Она делает надрез под кожей и оттягивает ее точным движением. Кусок за куском кожа отделяется от мяса, пока вся целиком не снимется с туши. Шкуру высушат, а потом или оставят в доме, или продадут. Большая часть шкур наших баранов идет на продажу. Но на тебя плохо посмотрят, если ты принесешь на рынок одну шкуру. Надо принести сразу много, чтобы показать, какой ты богатый.

Накануне свадьбы, когда наступает ночь, после барашка мать занимается моей сестрой. Она берет старую сковороду, лимон, немного оливкового масла, яичный желток и сахар. Она все это нагревает в сковороде и запирается вместе с Нурой. С помощью этого состава удаляются волосы. С половых органов надо удалить все до единого волоска. Все должно быть голым и чистым. Мать говорит, что если случайно останется хоть один волосок, мужчина уйдет, даже не взглянув на свою жену, и скажет, что она грязная!

Эта история с волосками, которые станут грязными, очень меня занимала. Ведь ни с рук, ни с ног волосы не удаляют, только с лобка. Также выщипывают брови, но это больше для красоты. Когда у девочки начинают расти волосы на теле, это вместе с ростом груди означает, что она становится женщиной. Но умрет она с волосами, потому что Бог нас какими создал, такими и должен забрать. И, однако же, все девушки гордятся тем, что им предстоит эпиляция... Это доказательство того, что он будут принадлежать другому мужчине, помимо отца. Без волос на лобке становишься и вправду кем-то другим. Но мне кажется, что это скорее наказание, чем что-то другое, потому что я слышала, как кричала моя сестра. Когда она вышла из комнаты, собравшиеся под дверью женщины, захлопали в ладоши и приветственно загалдели. Это большая радость: моя сестра готова к замужеству — знаменательному жертвоприношению ее

девственности.

После сеанса эпиляции она может пойти поспать. Женщины расходятся по домам, потому что они видели, что все сделано по правилам.

На следующий день на восходе солнца начинают готовить угощение к свадьбе, в том дворе, где будет проходить торжество. Надо, чтобы все видели, как готовят еду, и оценили набор блюд. Даже горсть риса, и та должна быть сварена на глазах зрителей, иначе вся деревня потом будет об этом судачить. Полдвора отведено под приготовление еды. Там и мясо, и кускус, овощи, рис, курица, и много сладостей, пирожных, которые моя мать готовит с помощью соседок, потому что одна она никогда не сумела бы приготовить для такого количества гостей.

Готовые блюда выставляются на всеобщее обозрение, а мать с еще одной женщиной идут готовить к торжеству мою сестру. Ее вышитое спереди платье длинное и достает до щиколоток, пуговицы обтянуты тканью. Нура просто великолепна, когда она выходит из комнаты, вся увешанная золотом. Прекрасна, как цветок. На ней браслеты, кольцо и, главное, первейшая вещь для невесты — диадема! Диадема сделана из золотых монет, нанизанных на ленту, и закреплена вокруг головы. Распущенные волосы Нуры намазаны оливковым маслом, чтобы придать им блеск. Ее усаживают на троне. Это стол, на котором стоит стул, покрытый белой накидкой. Нура должна забраться наверх, сесть на стул и ждать, пока пожалует ее суженый, а тем временем на нее любуются все остальные. Все женщины толкают друг друга, чтобы пролезть во двор и посмотреть на новобрачную, выражая криками свое одобрение. Мужчины пляшут на улице. Они не смешиваются с женщинами во дворе.

Мы даже не имеем права подойти к окну, чтобы посмотреть, как они пляшут.

В этот момент входит жених. Невеста скромно опускает голову. Пока еще она не имеет права смотреть ему прямо в лицо, а ведь это первая возможность рассмотреть его по-настоящему. Предполагаю, что моя мать должна была сообщить некоторые сведения о женихе, его семье, работе, возрасте... но я не уверена. Возможно, ей просто сказали, что его родители принесли необходимое количество золота.

Мать берет вуаль и надевает ее на голову сестры, а раздетый как принц жених подходит ближе. Нура сидит, целомудренно положив руки на колени и склонив голову под вуалью, чтобы показать свое хорошее воспитание. Ведь это самый ответственный момент в жизни моей сестры.

Я смотрю на них так же, как и другие, и завидую ей. Я всегда завидовала ей, что она старшая, что она может ходить с матерью повсюду, в

то время как я могу только горбатиться на конюшне в компании Кайнат. Я завидовала ей, что она покинет дом первой. Каждая девушка хотела бы быть на ее месте в этот день, в прекрасном белом платье, вся украшенная золотом. Она такая красивая. Единственное, что меня удручает, это то, что Нура без обуви. Для меня босые ноги — это признак нищеты. Я видела на улице женщин, идущих на рынок, и они были обуты. Возможно, из-за того, что мужчины всегда носят обувь, она является для меня символом свободы. В обуви ты можешь идти по дороге, не чувствуя камешков и не натываясь на колючки... Нура была босой, а у Хуссейна были очень красивые начищенные ботинки, которыми я просто залюбовалась.

Хуссейн направляется к моей сестре. Для него на высоком столе установлен другой стул, накрытый белой накидкой. Он усаживается, приподнимает белую вуаль, и крики восторга раздаются во дворе. Церемония совершена. Мужчина только что открыл лицо той, которая осталась непорочной для него и которая родит ему сыновей.

Они оба сидят на стульях как два манекена. Гости пляшут, поют, едят, а эти двое не шевельнутся. Им приносят поесть, и чтобы они не испачкались, их свадебные наряды прикрывают белой тканью.

Муж не прикасается к своей жене, не целует ее, не берет за руку. Между ними ничего не происходит, никакого жеста, свидетельствующего о любви или нежности. Они являются незыблемым символом супружества и будут изображать его достаточно долго.

Я не знаю ничего об этом человеке, не знаю его возраста, есть ли у него братья и сестры, чем он занимается, где живет со своими родителями. А ведь он из нашей же деревни. У нас не принято брать жен со стороны. И, тем не менее, я тоже вижу этого человека впервые. Мы не знали, хорош он или некрасив, мал или высок, толстый ли, слепой, криворотый или однорукий, безухий или с ушами, большой ли у него нос... Хуссейн оказался очень красивым мужчиной. Он не очень высок, примерно метр семьдесят, у него курчавые, коротко стриженные волосы, довольно полный. Лицо смуглое, загорелое, упитанное. Нос очень маленький, приплюснутый, с широкими ноздрями. Держится он хорошо. Походка горделивая, и на первый взгляд он не производит впечатления злого человека, но на самом деле может быть и злым. Я это хорошо чувствую, временами он разговаривает очень нервозно.

Чтобы дать понять, что праздник близится к концу и гостям пора расходиться по домам, женщины поют, обращаясь напрямую к мужу, слова песни примерно такие: «Защити меня сейчас. Если ты меня не защитишь, ты не мужчина...» И последняя обязательная песня: «Если ты нам не

спляшешь, мы отсюда не уйдем».

Для завершения церемонии необходимо, чтобы новобрачные исполнили танец вдвоем.

Муж велит жене спуститься — на этот раз он прикасается к ней пальцем, она ему принадлежит, — и они танцуют вместе. Некоторые не танцуют, потому что они очень скромные. Но моя сестра много танцевала со своим мужем, и это было великолепное зрелище для всей деревни.

Теперь муж уводит свою жену к себе, и это происходит, когда уже наступила ночь. Его отец предоставляет им дом, если нет, то он не мужчина. Дом Хуссейна недалеко от дома его родителей, в нашей же деревне. Молодые идут туда пешком вдвоем. Мы плачем, глядя, как они уходят. Даже мой брат в слезах. Мы плачем, потому что она нас покидает, мы плачем, потому что не знаем, что с ней произойдет, если она не окажется для своего мужа девственницей. Мы беспокоимся. Надо дождаться того момента, когда муж покажет простыню с балкона или прицепит ее к окну на восходе солнца, чтобы люди официально убедились в наличии крови девственницы. Если свидетелей двое или трое, этого недостаточно. Доказательство может быть спорным, ничего не известно заранее.

Я помню их дом, их двор. Вокруг была стена из цемента и камней. Все были на ногах и ждали. Вдруг появился мой зять с простыней и издал победный клич. Мужчины засвистели, женщины запели, хлопая в ладоши, потому что он показал им простыню. Эта простыня специальная, которую стелют на кровать для первой брачной ночи. Хуссейн прикрепил ее к балкону с помощью белых прищепок с каждой стороны. Свадьба белая, простыня белая, прищепки белые. Кровь красная. Хуссейн приветствует всех взмахом руки и уходит. Это победа.

Кровь барана, кровь девственницы, все время кровь. Я помню, как на каждый праздник Аид (по окончании рамадана) мой отец резал барана. Кровью наполняли целый таз, и в ней мочили тряпку, чтобы вымазать входную дверь и плитки пола. Надо было заходить в дом через выкрашенную кровью дверь и идти по плиткам до самого верха. Меня это делало больной. Всё, что отец убивал, делало меня больной от страха. Когда я была ребенком, меня, как и других, заставляли смотреть, как отец убивает кур, кроликов, баранов. И мы с сестрой были уверены, что он может и нам свернуть шею, как цыпленку, и перерезать горло, как барану. В первый раз я была так напугана, что спряталась в ногах матери, чтобы не видеть, но она заставила меня смотреть. Она хотела, чтобы я видела, как

отец убивает, чтобы я стала частью семьи, чтобы я не боялась. Но я всегда боялась, потому что кровь ассоциировалась у меня с отцом.

На следующий день после свадьбы я, как и другие, рассматривала кровь моей сестры на белой простыне. Моя мать плакала, и я тоже. В тот момент много плакали, потому что надо было показать свою радость, приветствовать честь отца, который сохранил свою дочь девственницей. И плакали от облегчения, потому что Нура блестяще выдержала это серьезное испытание. Единственное испытание всей своей жизни. Ей осталось только доказать, что она может родить сына.

Я тоже надеялась на это для себя, и это нормально. И я очень рада, что она вышла замуж: потом настанет и моя очередь. Странно, что в тот момент я совсем не думала о Кайнат, как будто бы моя старшая сестра не принималась в расчет. А ведь раньше надо было выйти замуж ей, а не мне!

Потом мы вернулись. Стали убираться во дворе. Семья невесты должна вымыть посуду, все вычистить, подмести весь двор, много чего предстояло сделать. Иногда приходят помочь соседи, но это не правило.

С того момента, как Нура вышла замуж, она больше не должна приходить в отчий дом. Впрочем, у нее нет и причин приходить туда, ведь она занята собственной семьей. И, однако, через некоторое время после свадьбы, во всяком случае, меньше чем через месяц, она пришла домой к матери, жаловалась ей и плакала. Поскольку я не могла спросить, что произошло, я подглядывала с верха лестницы, чтобы попытаться понять.

Нура показывала ей следы побоев. Хуссейн так ее бил, что синяки у нее были даже на лице. Она спустила штаны, чтобы показать свои фиолетовые бедра, и мама заплакала. Должно быть, он таскал ее за волосы по земле, мужчины все делают так. Но я не знала, почему Хуссейн так ее бил. Случается, что молодая жена не очень-то хорошо знает, как приготовить поест, забудет посолить, не подаст соус, потому что она забыла подлить в него воды... всего этого вполне достаточно, чтобы заслужить побои. Нура пришла жаловаться матери, потому что отец слишком жесток, и отослал бы ее обратно, даже не выслушав. Мама ее выслушала, но не стала утешать, она просто сказала: «Это твой муж, ничего страшного, тебе надо вернуться к нему».

И Нура вернулась. Избитая, как и была. Она вернулась к своему мужу, который воспитывал ее палкой.

У нас нет выбора. Даже если нас душат, у нас нет выбора. Глядя на мою сестру в таком состоянии, я могла бы сказать себе, что замужество ни к чему, ведь будешь бита, как и раньше. Но даже мысль о побоях не могла помешать мне желать замужества как ничего другого в мире. Любопытная

вещь — судьба арабской женщины, по крайней мере, в моей деревне. Мы принимаем ее как должное. Никакой мысли о неподчинении даже не приходит в голову. Мы даже не знаем, что это такое — неподчинение. Мы умеем плакать, прятаться, обманывать, чтобы избежать палки, но восстать — никогда! Просто другого места, чтобы жить, нет — либо у отца, либо у мужа. Жить одной невыносимо.

Хуссейн даже не пришел за своей женой. Впрочем, она оставалась у нас недолго, моя мать так боялась, что ее дочь захочет вернуться домой! Спустя какое-то время, когда Нура забеременела, и мы все ждали мальчика, она стала настоящей принцессой для семьи своего мужа, для него самого и для нашей семьи. Иногда я ревновала. В нашей семье она была важнее, чем я. Даже до замужества она больше говорила с матерью, а потом они вообще стали очень близки. Когда они вместе шли за сеном, они всегда тратили на это больше времени, потому что много разговаривали. Они запирались в комнате с зеленой дверью, я это помню, а я ходила перед ней. Я была одинокая, покинутая, потому что моя сестра была за этой дверью с матерью, они выщипывали волосы. В этом помещении также складывали пшеницу, оливки и муку.

Не знаю, почему вдруг в памяти всплыла эта дверь. Я входила в нее и выходила с мешками почти каждый день. За этой дверью происходило что-то тревожное, но что? Мне кажется, что я спряталась от страха между мешками. Я скорчилась на коленях, как обезьянка, а кругом темнота. В этой кладовой было мало света. Я спряталась там, уткнувшись лбом в пол. Кафель был коричневым, совсем маленькие коричневые плиточки. Промежутки между плитками отец выкрасил белой краской. Мне отчего-то страшно. Я вижу мать, с мешком на голове. Это отец надел ей на голову мешок. Где это было, здесь или в другом месте? Он хочет ее наказать? Хочет ее задушить? Я не могу кричать. Но все же это мой отец, который сжимает мешок вокруг шеи матери, я вижу его профиль, его нос, почти касающийся ткани. Одной рукой он держит мать за волосы, а другой стягивает мешок.

Она одета в черное. Должно быть, что-то произошло несколько часов назад? Что именно? Моя сестра пришла к нам, потому что муж ее избивает. Мама ее выслушала, а разве мать не должна пожалеть свою дочь? Разве не должна она заплакать, не должна попытаться защитить ее от гнева отца? Мне кажется, что мои воспоминания как-то выстраиваются в цепь, начиная от этой зеленой двери. Приход моей сестры, и я, среди мешков с пшеницей, моя мать, которую душит пустым мешком мой отец. Я должна была туда войти и спрятаться. Я очень часто пряталась. В конюшне, в комнате или в

шкафу в коридоре, где были развешены на просушку бараньи шкуры, приготовленные на продажу. Они были развешены, как на рынке, и я пряталась между ними, несмотря на то, что я задыхалась в них, но там меня не могли поймать. Изредка я пряталась в кладовой между мешками, но очень боялась, что оттуда выползут змеи. И если я там спряталась, значит, я боялась чего-то плохого для себя тоже.

Возможно, это был тот день, когда отец пытался задушить меня овечьей шкурой в комнате на верхнем этаже. Он хотел, чтобы я сказала правду, чтобы я ему сказала, изменяла ли ему мама или нет. Он сложил шкуру вдвое. И он прижал ее к моему лицу. Я бы лучше умерла, чем предала мою мать. Даже при том, что я собственными глазами видела, как она скрылась с мужчиной. Если бы я сказала правду, он убил бы нас обоих. Но я не могла предать, даже если бы он приставил мне нож к горлу. Я уже не могла дышать под этой шкурой. То ли он меня отпустил, то ли мне удалось убежать? Во всяком случае, я побежала вниз и спряталась в комнате за зеленой дверью между мешками, которые в темноте напоминали чудовищ. Я всегда их боялась в этой почти темной комнате. Мне чудилось, что отец среди ночи может высыпать из мешка всю пшеницу и набить его змеями!

Вот так иногда я пыталась расставить обрывки жизни по своим местам в памяти. Зеленая дверь, мешок, отец, который хочет задушить мать, а потом и меня, чтобы я созналась, мой страх в ночи и змеи.

Не так давно я высыпала мусор из ведра, и кусочек пластиковой упаковочной бумаги прилип к крышке. Постепенно этот кусок оторвался и стал падать на дно мусорного ведра с характерным шорохом. Я вскочила, мне показалось, будто из ведра выползает змея. Я задрожала от страха и заплакала как ребенок.

Мой отец знал, как убивать змей. У него была специальная палка с раздвоенным концом. Он придавливал змею этим концом, и она не могла двигаться дальше. И потом он убивал ее дубинкой. Раз он мог придавить змею, чтобы убить, он так же мог ее поймать и положить в мешок, чтобы она меня укусила, когда я суну руку за пригоршней муки. Вот почему у меня вызывала страх эта зеленая дверь, которая одновременно меня очень волновала, потому что за ней мать и старшая сестра занимались выщипыванием волос, но без меня. Потому что до сих пор никто не попросил официально моей руки.

И, однако же, до моих ушей дошел слух, когда мне было едва двенадцать или тринадцать лет... Одна семья приходила к моим родителям говорить обо мне, официально. Значит, в деревне был человек, который

хотел меня взять. Но надо было ждать. Сначала была очередь Кайнат, а только после нее — моя.

Ассад

Я была единственной, кто вбежал в дом и закричал, когда его лошадь поскользнулась, и он упал. Образ моего брата так и стоит у меня перед глазами: на нем пестрая зеленая рубашка, и поскольку ветрено, рубашка пузырится у него за спиной. Он был великолепен верхом на коне. Я так его любила, моего брата, что этот образ останется со мной навсегда.

Мне кажется, что после исчезновения Ханан я стала к нему еще нежнее. Я была у его ног. Я не боялась его, я не опасалась, что он причинит мне зло... Возможно, потому что я была старше, чем он? Потому что мы были более близки. И ведь, тем не менее, он нас тоже бил, когда отца не было дома. Однажды он даже набросился на мать. Они спорили, он схватил ее за волосы, и она заплакала... Я четко помню этот момент, хотя и забыла, из-за чего они повздорили. Мне всегда с трудом удается собрать вместе образы и подыскать для них значение. Словно в моей новой жизни, которую я должна была строить в Европе, память о жизни в Палестине разбилась на множество осколков.

Сегодня это трудно понять — после всего того, что сделал мой брат, но тогда, увидев совершенное насилие, я, по-видимому, не осознавала, что Ханан умерла. Только сейчас, реконструируя эту сцену в своей памяти, я не могу думать о другом. Связывая события в одно целое, размышляя логически и отстраненно. С одной стороны, каждый раз, когда разворачивалась драма, моих родителей не было дома, то есть женщина была приговорена на семейном совете, и при казни присутствовали только исполнитель и жертва. После я больше не видела Ханан в доме. Никогда. Ассад в тот вечер был в бешенстве, униженный тем, что его отстранили от преждевременных родов его жены, униженный ее родителями. Может быть, по телефону сообщили, что долгожданный ребенок умер? Или Ханан сказала ему об этом как-то не так? Я не знаю. Насилие и у нас дома, и во всей деревне было всеобщим, по отношению к женщинам оно совершалось буквально ежедневно! Но я так любила Ассада. Чем больше отец ненавидел моего единственного брата, тем больше я обожала его.

Вспоминаю его свадьбу, это был необыкновенный праздник! Скорее всего, это единственное светлое воспоминание в моем безумном прошлом. Мне было уже лет восемнадцать, и я была старой. Я даже отказалась присутствовать на одной свадьбе, потому что девушки явно подсмеивались надо мной. Когда я шла мимо, они ухмылялись, толкали друг друга локтями

и гадко смеялись. И я плакала без конца. Порой мне было стыдно выходить в деревню со стадом, так я боялась чужих взглядов. Я становилась не лучше нашей старухи-соседки с бельмом на глазу, которую никто не захотел взять в жены. Мать позволила мне не ходить на свадьбу соседки, она понимала мое состояние. Именно тогда я осмелилась сказать отцу: «Это все из-за тебя! Дай мне выйти замуж!» Но он по-прежнему не соглашался, и только бил меня по голове: «Сначала твоя сестра должна выйти замуж! Убирайся!» И больше я не говорила с ним об этом.

Однако вся семья, и я больше всех, радовалась свадьбе нашего брата. Невесту звали Фатма, и я не понимаю, почему она была из посторонней семьи, из другой деревни. Возможно, в нашей деревне не было семей с дочерьми, подходящими для замужества? Мой отец нанял два автобуса, чтобы ехать на свадьбу. Один для женщин, другой для мужчин. Разумеется, автобус с мужчинами ехал впереди. Мы переезжали горы, и на каждом крутом вираже женщины выражали свой восторг криками и благодарили Бога, что он не дал им свалиться в пропасть, такой опасной была эта дорога. Пейзаж напоминал пустыню, дорога не заасфальтирована, это была сухая черная земля, и колеса впередиидущего автобуса с мужчинами оставляли позади себя облако пыли. Но все плясали. У меня на коленях лежал бубен, и я отбивала ритм восторженным возгласам женщин. Я тоже танцевала с платком в руке, я очень хорошо плясала. Все плясали, все были очень веселы, и только один шофер не плясал!

Свадьба брата была более грандиозным празднеством, чем свадьба моей сестры. Его жена была юной, красивой, небольшого роста и очень смуглой. Она была не ребенком, а почти ровесницей Ассаду. В нашей деревне немного подсмеивались над отцом и матерью, потому что брат был вынужден жениться на достаточно зрелой девушке, да еще и не местной. Он должен был бы жениться на девушке моложе себя, ведь не очень-то прилично брать женщину своего возраста! А почему он нашел ее на стороне? Потому что она была очень красивая, и ей повезло, что у нее несколько братьев. Мой отец заплатил много золота, чтобы выкупить ее. У нее было много драгоценностей.

Свадьба продолжалась полных три дня. Три дня праздника и танцев. Я помню, на обратном пути шофер остановил автобус на дороге, а мы все продолжали танцевать. Вижу себя, как я держу платок и бубен, мое сердце переполнено радостью и гордостью за Ассада. Он как добрый Господь для нас, и что за странная любовь к нему, которая никак не проходит. Он единственный, кого я не могу возненавидеть, даже, несмотря на то, что он колотил меня и избивал свою жену и даже стал убийцей.

Он стоит перед глазами — мой брат Ассад. Братик Ассад. Здравствуй, мой брат Ассад. Никогда я не отпраивлялась на работу, не сказав ему: «Здравствуй, мой брат Ассад!» Настоящее благоговение. Детьми мы часто бывали вместе. Сейчас, когда он женился и живет со своей женой в нашем доме, я продолжаю служить ему. Если ему не хватит горячей воды для мытья, я пойду, нагреею воду, помою ванну, постираю и развешу его белье. Если надо, заштопаю и починю его вещи, прежде чем сложить их на место.

Вообще-то я не должна была бы так его любить и служить ему с такой любовью. Ведь он такой же, как и другие мужчины. Вскоре после свадьбы он стал избивать Фатьму, и она опозорила его, вернувшись к своим родителям. И вопреки обычаю, ее родители не отослали ее силой к нам в тот же день. Возможно, они были богаче, чем мы, или, как единственную дочь, ее больше любили, — не знаю. Мне кажется, что стычки отца с братом начались из-за этого. Мой брат захотел взять жену из другой деревни, он обязал отца дать за нее много золота, а в результате у этой женщины случился выкидыш. Вместо того чтобы родить сына, она к тому же опозорила его, вернувшись в дом своих родителей! Разумеется, я не присутствовала на семейных советах, и в моей памяти не сохранилось ничего, чтобы подкрепить мои умозаключения, которые я делаю сегодня, но зато прекрасно помню отца, стоящего на террасе с полной корзиной камней, которые он один за другим сбрасывает на голову Асада. И помню шкаф, которым брат подпер дверь своей комнаты, чтобы отец не мог туда войти. Наверное, Асаду хотелось иметь свой отдельный дом, и он вел себя так, будто весь наш дом принадлежит ему. Но отец, я полагаю, не хотел, чтобы Ассад распространил свою власть на весь дом, лишив его авторитета и денег.

Отец часто говорил брату: «Ты еще мальчишка!»

Ассад же бунтовал тем больше, чем более уверенно себя чувствовал и чем больше мы его баловали. В доме он был как принц, и к тому же у нас не принято говорить мужчине, что он еще дитя, это серьезное оскорбление! И он кричал: «Я здесь у себя дома!» А мой отец не выносил этого. В деревне люди стали задавать друг другу вопросы, что за глупости делает Фатьма, почему она так часто возвращается к своему отцу. Может быть, ее видели с другим мужчиной? В подобных случаях сплетни распространяются стремительно. О ней говорили разное, но все это было абсолютной неправдой, она была очень порядочная девушка. К несчастью, если кто-нибудь скажет хоть раз: «Она плохая», — она становится такой для всей деревни. И всё. Ее уже сглазили.

Мать моя была несчастна от всего этого. Иногда она пыталась

успокоить отца, когда он напал на Ассада:

— Зачем ты это делаешь? Оставь его в покое!

— У меня руки чешутся убить его! А ты, если посмеешь защищать его, отправишься вслед за ним!

Я видела, как Фатъма лежала на полу, а Ассад бил ее ногами по спине. Однажды у нее был подбит глаз, а лицо было все синее. Но мы ничего не могли ни сказать, ни сделать. Находясь меж двух огней — ненависти отца и жестокости брата, нам оставалось только прятаться, чтобы и нам не досталось.

Любил ли мой брат свою жену? В тот момент любовь была для меня тайной. У нас говорят о свадьбе, но не о любви. Между мужчиной и женщиной существуют не любовные отношения, а только покорность и полное подчинение. С девственницей, купленной для мужа, существует обязательное половое сношение. Иначе забвение или смерть. Так о какой любви можно говорить?

И, тем не менее, я вспоминаю об одной женщине из нашей деревни, той, что жила в самом красивом доме со своим мужем и детьми. Они были известны роскошью своего дома и своим богатством. Дети ходили в школу. Это была большая семья, потому что в ней двоюродные братья и сестры всегда женились между собой. Все у них было покрыто кафелем. Даже дорога, ведущая от дома, вымощена плиткой. В других домах был камень или песок, иногда асфальт. А здесь перед домом прекрасная аллея, обсаженная деревьями. Специально нанятый садовник ухаживал за домом и двором, окруженным кованой железной решеткой, блестевшей на солнце как золото. Этот дом бросался в глаза еще издали. У нас любят, когда блестит. Если у человека золотой зуб, значит, он богат! А когда он богат, это надо всем показать. Этот дом был очень современный, совсем новый, изумительный снаружи. Перед ним всегда были припаркованы две-три машины. Конечно, я никогда не заходила внутрь, но когда проходила мимо со своими баранами, всегда об этом мечтала. Хозяина звали Хассан. Это был высокий господин, очень смуглый и элегантный. Он и его жена были очень привязаны друг к другу, их всегда видели вместе. Она была беременна близнецами и должна была родить. К несчастью, роды были неудачные, близнецы выжили, а женщина умерла. Мир ее душе, потому что она была очень молодой. Это были единственные похороны, которые я видела в деревне. Что меня поразило и взволновало — вся семья кричала и плакала, следуя за носилками, на которых лежало тело, и ее муж плакал больше, чем остальные. От горя он разорвал свою традиционную длинную белую рубаху, идя за телом своей жены. А ее свекровь тоже разорвала свое

платье. Я заметила голые груди этой пожилой женщины, которые бились по ее животу, мелькая среди рваных лохмотьев ткани. Я никогда не видела такого безысходного отчаяния. Эту женщину, которую хоронили, очень любили, ее смерть потрясла всю ее семью и опечалила всю деревню.

Была ли я на похоронах или наблюдала за ними с террасы? Скорее всего, смотрела с террасы, потому что я была слишком мала. Но, во всяком случае, тоже плакала. Было очень много народу. Они медленно шествовали по деревне. И я никогда не забуду этого мужчину, плакавшего от горя и разорвавшего на себе одежду. Он был такой красивый, когда рыдал от любви к своей жене.

Это был очень достойный и благородный человек.

Родители моей матери и моего дяди жили в деревне, и о моем деду Мунтере тоже всегда очень заботились. Он был высоким, как и его сын, хорошо выбритым, всегда подтянутым, хотя и носил традиционную одежду. В руке он всегда держал четки и перебирал одну за другой бусины своими длинными пальцами. Иногда он заходил к моему отцу выкурить трубку, и они имели вид закадычных друзей. Но однажды моя мать ушла ночевать к своим родителям, потому что отец очень сильно ее избил. Она оставила нас одних с отцом. У нас не принято, чтобы мать забирала детей. Будь то мальчики или девочки, они должны оставаться с отцом. Чем я становилась старше, тем больше он ее избивал, и тем чаще она уходила. Именно дедушка Мунтер силой приводил ее обратно. Иногда она уходила на неделю, иногда на день, иногда на ночь. Однажды она ушла на целый месяц, и с тех пор мой дед не хотел больше разговаривать с отцом.

Я думаю, что если бы мать умерла, у нее не было бы таких похорон, как у той женщины, и мой отец не плакал бы и не кричал, разрывая одежды, как господин Хассан. Он вовсе не любил мою мать.

Я даже была убеждена, что у нас любовь не существует, по крайней мере, в нашей семье. В конце концов, у меня был брат, и только его я любила, несмотря на его жестокость, доходящую порой до безумия. Мои сестры тоже его любили. Нуры уже не было с нами, но Кайнат была такой же, как я, она защищала его и хлопала в ладоши, когда он вскакивал на коня.

Не считая маленьких сестричек, которым было еще рано думать о замужестве, в доме оставались только мы с Кайнат. Две старые девы. Что касается Кайнат, у меня было чувство, что она покорила судьбе. Она не была некрасивой, но... ни очень хорошенькой, ни очень улыбчивой ее

нельзя было назвать. Кайнат отличалась от меня. Возможно, мы были плохо одетыми, плохо причесанными крестьянками... Но я маленькая и худенькая, а она крупная и с очень большой грудью. У нас мужчины любят женщин в теле, но слишком большая грудь им не нравится. Кайнат не должна была нравиться, и она грустила и не делала ничего, чтобы стать красивее. Она растолстела, хотя ела то же, что и я, но в этом не было ее вины. Во всяком случае, ни одна, ни другая, мы не могли стать лучше, чем мы есть. Каким образом? Никаких красивых платьев, всегда одни и те же белые или серые шаровары, никакой косметики или украшений. Запертые в четырех стенах, как старые клуши, мы считали шаги, склонив голову к земле, если нам доводилось выходить из дома в обществе баранов и овец.

Если бы не безнадежная Кайнат, перекрывшая мне дорогу к замужеству... Я знаю, что все же один человек просил за меня. Мать сказала мне: «Отец Файеза приходил, просил отдать тебя за своего сына. Но мы не можем сейчас говорить о твоей свадьбе, надо ждать, пока твоя сестра выйдет замуж».

С тех пор я стала представлять себе, как он меня хочет и как с нетерпением ждет, когда мои родители отменят свой запрет.

Мой брат Ассад знал его. Он жил в доме напротив нас, по другую сторону дороги. Они не были крестьянами, как мы, они не работали так помногу в огороде. У его родителей было три сына, и неженатым остался только Файез. В этой семье не было дочерей, из-за этого дом окружала не стена, а только красивая ограда, дверь которой никогда не запиралась на ключ. Стены были выкрашены в розовый цвет, а перед домом всегда стояла серая машина.

Файез работал в городе. Я не знаю, чем он занимался, но представляла, что он работает в конторе, как и мой дядя. Во всяком случае, он был гораздо лучше Хуссейна, мужа мой старшей сестры. Хуссейн всегда носил грязную рабочую одежду, и от него плохо пахло.

Файез был сама элегантность. А прекрасная машина с четырьмя сиденьями, отъезжающая каждое утро!

Тогда я начала подглядывать за его машиной, чтобы рассмотреть его самого. Самой лучшей точкой обзора была терраса, где я вытряхивала ковры из овечьей шерсти, собирала виноград и развешивала выстиранное белье. Соблюдая величайшую осторожность, я всегда могла найти дело на террасе.

Прежде всего, я узнала, что он ставит машину на одном и том же месте, в нескольких шагах от двери. Поскольку я не могла оставаться на террасе долго, мне понадобилось много дней, чтобы узнать, что он выходит

из дому примерно в семь утра, а в это время я всегда найду, что делать наверху.

В первый раз, когда я его увидела, мне повезло. Я быстро вычистила конюшню и пошла за сеном для больной овцы, которая должна была скоро родить. Я была в двух-трех шагах с охапкой сена в руках, когда он вышел из дому. Такой же элегантный, как мой дядя, в костюме, в великолепных черно-бежевых ботинках на шнурках, с чемоданчиком в руке, с черными волосами, загорелым лицом и гордой походкой.

Я склонила голову, уткнувшись носом в солому. Я услышала его шаги, звук открываемой дверцы, которая потом захлопнулась, шум мотора и шуршание колес по гравиям. Я не поднимала головы, пока машина не отъехала подальше, и дождалась, когда она скроется из виду. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, а ноги дрожали и подкашивались. И я сказала себе: «Я хочу, чтоб этот человек стал моим мужем, я люблю его. Я хочу его, хочу...»

Но как это сделать? Как упрямить его пойти самому к отцу и умолять его заключить соглашение о свадьбе? Прежде всего, как с ним поговорить? Девушка не обращается к мужчине ни единым словом. Она не должна даже смотреть ему в лицо. Он недоступен, и даже если этот мужчина хочет на мне жениться, то не он это решает. Только мой отец, и никто другой, и он убьет меня, если узнает, что я простояла на дороге с соломой в руках хоть минуту, чтобы привлечь внимание Файеза.

В тот день я на это даже не надеялась, но мне хотелось, чтобы он меня увидел, чтобы знал, что я тоже жду его. Поэтому я решила сделать все, чтобы встретиться с ним украдкой и поговорить. Даже с риском быть побитой камнями или палкой до смерти. Я не хотела ждать еще месяцы и годы, пока Кайнат покинет дом, на это нельзя было рассчитывать. Я не хотела состариться и стать посмешищем для деревни. Я не хотела терять надежду уехать куда-нибудь с мужчиной, освободиться от насилия отца.

Каждое утро и каждый вечер я буду следить на террасе за моим возлюбленным, до тех пор, пока он не поднимет глаза на меня и не подаст мне знак. Улыбнется. Иначе, я уверена, он пойдет просить руки другой девушки в нашей деревне или где-то еще. И однажды я увижу другую женщину на моем месте, сажающуюся в машину.

Она украдет у меня Файеза.

Секрет

Я вполне осознавала, какому риску подвергала свою жизнь из-за этой любовной истории, начавшейся двадцать пять лет назад в моей родной деревне на западном берегу реки Иордан. Крошечная деревня на территории, оккупированной израильтянами, название которой я все еще не могу открыть. Потому что до сих пор я рискую своей жизнью, даже находясь в тысячах километров отсюда. Там я официально признана умершей, о моем существовании давно забыли, но если бы я вернулась туда сегодня, меня убили бы во второй раз ради чести моей семьи. Таков обычай.

Находясь на террасе собственного дома, поджидая появления мужчины, которого я люблю, я пребывала в смертельной опасности. И, однако же, я думала только об одном: о замужестве.

На дворе весна. Не могу сказать точно, какой месяц, кажется апрель. В моей деревне считают не так, как в Европе. Мы никогда не знаем точный возраст собственных отца или матери, не знаем даты своего рождения. Время отсчитывают в зависимости от рамадана, времени жатвы или сбора инжира. Вся работа начинается с восходом солнца и заканчивается с его закатом, и по солнцу сверяется время в течение дня.

Я думаю, что тогда мне было лет семнадцать. Позже я узнаю, что по бумагам мне уже было девятнадцать. Но я не знала о существовании тех бумаг, и каким образом они были составлены. Возможно, что мать перепутала дату рождения одной дочери с рождением другой в тот момент, когда ее принудили официально оформить мое существование. Я считалась зрелой с появлением месячных, готовой к замужеству по прошествии трех-четырех рамаданов. В день моей свадьбы я уже буду считаться женщиной. Моя собственная мать была еще молодой, но выглядела старухой. Мой отец считался старым, потому что у него уже осталось мало зубов.

Файез был значительно старше меня, но это было как раз хорошо. Я ожидала надежности с его стороны. Мой брат женился очень рано, взяв женщину своего возраста, и если, к сожалению, она не родит ему сыновей, однажды он будет вынужден взять другую женщину.

Я услышала шаги Файеза на гравийной дорожке. Я вытряхивала свой шерстяной ковер на краю террасы, и он поднял глаза. Он посмотрел на меня, и я знала, что он все понял. Не подав ни малейшего знака, тем, более не произнес ни слова, он сел в машину и уехал. Мое первое свидание

длилось столько времени, за сколько можно раскусить оливку, но это было незабываемое чувство.

На следующее утро, рискуя еще больше, я сделала вид, что поймала козу, чтобы пройти мимо его дома. Файез мне улыбнулся, и поскольку машина не сразу тронулась с места, я знала, что он видит, как я направилась на луг со своей скотиной. Утром было прохладно, и я воспользовалась случаем, чтобы надеть кофту из красной шерсти, мою единственную новую вещь, застегнутую на пуговицы снизу доверху, до самой шеи, но в которой я выглядела получше. Если бы я могла сплясать среди своих баранов, я бы сделала это. Мое второе свидание продолжалось еще дольше, потому что, слегка обернувшись на выходе из деревни, я увидела, что машина еще не отъехала.

Я больше не могла подавать ему знаки. Теперь он должен принять решение, что ему сделать, чтобы поговорить со мной тайком. Он знает, куда я хожу и в какое время.

На следующий день матери не было дома, отец поехал с ней в город, брат был со своей женой, а Кайнат занята в конюшне и с маленькими сестричками. Я была одна, чтобы отправиться за травой для кроликов. Четверть часа пешком, и вот Файез оказался там, прямо передо мной. Он скрытно шел за мной и поздоровался. Его присутствие буквально свело меня с ума. Я смотрела вокруг, боясь, что может появиться мой брат или какая-нибудь деревенская женщина. Никого не было, но я поспешила укрыться за высоким склоном дороги, и Файез пошел за мной. Мне было стыдно, я смотрела под ноги, одергивала свое платье и теребила пуговицы кофты, я не знала что сказать. Он встал в самоуверенную позу, в зубах он держал зеленый стебель пшеницы, и стал меня расспрашивать:

— Почему ты не выходишь замуж?

— Мне надо встретить мужчину всей моей жизни, а, кроме того, прежде должна выйти замуж моя сестра.

— Твой отец говорил с тобой?

— Он сказал мне, что твой отец приходил к нему, еще давно.

— Тебе хорошо живется дома?

— Он побьет меня, если увидит с тобой.

— Ты хочешь, чтобы мы поженились?

— Но прежде надо, чтобы вышла замуж сестра...

— Ты боишься?

— Да, очень. Мой отец злой. Это опасно и для тебя также. Мой отец может избить меня, да и тебя заодно.

Он остался спокойно стоять позади склона, а я тем временем быстро

набирала траву. Он как будто ждал меня, в то время как прекрасно знал, что я не могу вернуться в деревню с ним.

«Оставайся здесь, а я вернусь в деревню одна», — и я быстро пошла по направлению к дому, гордая за себя. Я хотела, чтобы у него осталось обо мне хорошее впечатление, чтобы он понял, что я умная девушка. Я должна очень бережно относиться к своей репутации по отношению к нему, ведь это я его завлекла.

Я никогда еще не была так счастлива. Быть с ним, так близко, несколько минут, какое чудо! Я ощущала счастье всем своим телом, даже не в состоянии в тот момент дать ему определение. Я очень наивна, и образование у меня не больше, чем у козы, но это ощущение чуда было сродни ощущению свободы моего сердца и моего тела. В первый раз в жизни я была кем-то, потому что я сама решила сделать то, что сделала. Я живая. Я не подчинилась ни отцу, ни кому-либо другому. Наоборот, я ослушалась.

Моя память об этих моментах и тех, которые последуют, довольно ясная. До того момента она почти не существовала. Я не видела себя, не знала, на что я похожа, была ли я красивой или нет. У меня не было осознания того, что я человеческое существо, что я думаю, имею чувства. Я испытывала только страх, испытывала жажду, когда было жарко, страдание и унижение, когда меня привязывали, как скотину, в конюшне и били до потери сознания. Испытывала ужас от ожидания быть задушенной или сброшенной в колодец. Я покорно сносила столько ударов. Даже если отец не мог быстро бегать, чтобы догнать нас, он всегда находил способ, как нас схватить. Ему было легко ударить меня головой о край ванны, потому что я выливалась в нее воду. Очень просто ударить меня тростью по ногам, если я подаю чай слишком поздно. Когда живешь, таким образом, нет времени подумать о себе. Мое первое настоящее свидание с Файезом на зеленом пшеничном поле впервые в жизни дало мне ощущение того, что я существую. Что я женщина, страстно желающая обрести того, кого люблю, за которого решила выйти замуж любой ценой.

На следующий день на той же дороге он ждал, когда я пройду на пастбище, и пошел за мной.

— А ты засматривалась на других парней?

— Нет, никогда.

— Ты хочешь, чтобы я поговорил с твоим отцом о свадьбе?

Я готова была целовать ему ноги за эти слова. Я хотела, чтобы он пошел немедленно, сию же минуту, чтобы он бегом побежал к своему отцу и сказал, что он, Файез, не может больше ждать, что надо просить моих

родителей, что принести за меня золото и драгоценности и готовить грандиозный праздник.

«Я дам тебе знак для следующего раза, но не надевай свою красную кофту, она слишком заметна издали, это опасно».

Дни проходили, солнце вставало и садилось, утром и вечером я поджидала сигнала от него на террасе. Теперь я была уверена, что он влюблен. На наше последнее свидание он не пришел. Я ждала его довольно долго, более четверти часа, с риском опоздать домой и быть застигнутой отцом. Я была обеспокоена и несчастна, но зато в следующий раз он пришел. Я издали увидела, как он идет по дороге, он сделал мне знак спрятаться в глубине поля, за склон дороги, где никто не мог нас увидеть из-за высокой травы.

— Почему ты не пришел?

— Я пришел, но спрятался подальше, чтобы посмотреть, не встречаешься ли ты с кем другим.

— Я не смотрю ни на кого.

— Парни свистят, когда ты проходишь мимо.

— Мои глаза не глядят ни вправо, ни влево. Я честная девушка.

— Теперь я знаю. Я виделся с твоим отцом. Мы скоро поженимся.

Он это сделал, он ходил к моему отцу после второго свидания. И даже если дата еще не назначена, год не закончится, как я выйду замуж.

В тот день была хорошая погода, тепло, инжир еще не созрел, но я была уверена, что не дожусь и начала лета и периода жатвы, как моя мать будет готовить горячий воск, чтобы удалить мне волосы. Файез подошел ко мне близко-близко. Я закрыла глаза, мне было немного страшно. Я почувствовала, как его рука обвилась вокруг моей шеи, и он поцеловал меня в губы. Я тут же его оттолкнула, не говоря ни слова, но своим жестом я хотела сказать: «Осторожно. Не иди дальше».

«До завтра. Подожди меня, но не на дороге, это слишком опасно. Спрячься здесь, в овраге. Я найду тебя после работы».

Он ушел первый. Я подождала, чтобы он отошел достаточно далеко, прежде чем возвращаться домой, но на этот раз я чувствовала себя очень возбужденной. Этот первый в моей жизни поцелуй перевернул во мне всё. И на следующий день мое сердце трепетало, когда я видела из своего укрытия, как он подходит ко мне. Дома у меня никто даже не догадывался о моих тайных свиданиях. Иногда по утрам моя сестра шла со мной вместе пасти овец и коз, но чаще всего она занималась конюшней и домом, и я после обеда оставалась одна. Весной трава высокая, и надо использовать ее, чтобы пасти овец, именно им я обязана той легкости, с которой я

выходила из дома одна. Это была ложная свобода, которую мне предоставляла семья, потому что отец тщательно следил, когда я ухожу и когда возвращаюсь. Деревня, соседи — всё так же на страже, чтобы напомнить мне, что я не имею права ни на шаг в сторону. С террасы я общалась с Файезом невидимыми знаками. Кивок головы, и я знала, что он придет. А если он садится в машину очень быстро, не взглянув на меня, это значило, что он не придет. В тот день я знала, что он придет, он подтвердил мне. И у меня было огромное чувство, что произойдет что-то необыкновенное.

Я опасалась, что Файезу захочется чего-то большего, чем поцелуй, и в то же время мне этого хотелось, пусть даже я не знала, что меня ждет. Я боялась, что если он попытается зайти слишком далеко, я оттолкну его, а он рассердится. И в то же время я ему доверяла, потому что он хорошо знал, что я не имею права позволить ему дотрагиваться до себя до свадьбы. Ведь он прекрасно знает, что я не шармута. И он пообещал на мне жениться. И все же мне было страшно находиться здесь, на лугу, одной со своим стадом. Спрятавшись в высокой траве, я следила за овцами и в то же время наблюдала за дорогой. Никого не было видно. Луг был чудесный, цветущий. Бараны в это время года спокойные, они все время едят, потому что травы полно, ее не надо искать, не то, что в разгар лета, когда трава редкая и высохшая.

Я ждала его с левой стороны, но Файез появился неожиданно для меня с другой стороны. Это хорошо, что он соблюдает осторожность, чтобы его никто не заметил, он заботится обо мне. Он был такой красивый. На нем были облегающие брюки от талии до колен, расклешенные книзу. Это по моде для мужчин, которые одеваются по-современному, на западный манер. На нем был надет белый свитер с длинными рукавами и острым вырезом, через который были видны волосы на его груди. По сравнению со мной он выглядел элегантно и даже шикарно. Я послушала его и не надела свою красную кофту, из-за которой меня можно узнать издалека. На мне было серое платье и серые шаровары. Но моя одежда была тщательно выстирана, ведь от работы она скоро становилась грязной. Волосы я убрала под белый платок, и все же мне было жаль, что я не надела красную кофту, мне хотелось выглядеть лучше.

Мы сели на землю, и он обнял меня. Он положил руку мне на бедро, но я не позволила. Он рассердился. Глядя мне в глаза, он зло бросил: «Почему ты не хочешь? Разрешите мне!»

Я так испугалась, что он уйдет, что он найдет кого-нибудь еще... Ведь он может это сделать в любой момент, он красивый мужчина, мой будущий

муж. Я его люблю, я никому не хочу его уступать, мне очень страшно, но еще больше я боюсь его потерять. Он моя единственная надежда. Значит, я позволю ему это делать, даже не зная, что со мной произойдет и до чего он дойдет. Вот он передо мной, он хочет до меня дотронуться, остальное не в счет. Солнце скоро начнет клониться к закату, стало чуть прохладнее, у меня осталось совсем немного времени до возвращения со стадом домой. Он повалил меня на траву и делал со мной все что хотел. Я не говорила ни слова, не сопротивлялась ни единым жестом. Он не был неистовым, он не брал меня силой, он очень хорошо знал свое дело. Вдруг меня пронзила боль. Я ее не ожидала, но не из-за нее я расплакалась. Я не сказала ничего ни до, ни после, да он и не спрашивал, почему я плачу. А я и сама не знала, почему у меня так льются слезы. Если бы он меня спросил, я даже не знала бы, что ответить. Я не хотела. Я была девственницей и не знала ничего о любви между мужчиной и женщиной, никто мне об этом не рассказывал. Я только знала с детства, что у женщины должна появиться кровь, когда она со своим мужем. С моего молчаливого согласия он сделал все так, что у меня появилась кровь, вот почему у него был несколько удивленный вид, как будто он этого не ожидал. Неужели он думал, что я уже делала это с другими мужчинами? Потому что я пасла овец на лугу совсем одна? Ведь он сам сказал, что следил за мной, и убедился, что я серьезная девушка. Я не смела, взглянуть ему в лицо, мне было стыдно. Он поднял меня за подбородок и сказал:

— Я люблю тебя.

— Я тоже тебя люблю.

В тот момент я не поняла, что он очень гордился собой. Я осознала это гораздо позднее, когда упрекала его в том, что он засомневался в моей честности, что использовал меня, хотя прекрасно понимал, чем я рискую. Я не хотела заниматься с ним любовью тайком, в овраге, я хотела того же, чего хотят все девушки из моей деревни. Выйти замуж, удалить волосы, как положено, надеть красивое платье и пойти спать к нему в дом. Я хотела, чтобы на рассвете он показал всем людям белую простыню с красным пятном. Я хотела услышать восторженные возгласы женщин. Он же воспользовался моим страхом, он знал, что я уступлю ему, чтобы только не потерять его.

Я отбежала подальше, спряталась, чтобы стереть кровь с ног и одеться, как полагается, а он в это время спокойно надевал свои вещи. Потом я умоляла его не бросать меня и сделать свадьбу как можно скорее. Девушка, потерявшая невинность, — это очень серьезно, для нее все кончено.

— Никогда я тебя не брошу.

— Я люблю тебя.

— Я тоже тебя люблю. А теперь возвращайся домой, смени одежду и веди себя так, как будто ничего не произошло. Главное, не плачь дома.

Он ушел раньше меня. Я больше не плакала, но чувствовала себя совершенно больной. Какая омерзительная эта кровь. Заниматься любовью с мужчиной — это совсем не подарок. Мне было больно, я чувствовала себя грязной, у меня не было воды, чтобы вымыться, я могла вытереться только травой, в животе у меня все горело, а мне надо было еще собрать овец и возвращаться домой в испачканных шароварах. Надо будет постирать все тайком. Быстро шагая по дороге, я думала о том, что крови больше не будет, но спрашивала себя, будет ли всегда так больно, когда я буду со своим мужем? Неужели будет всегда так противно, как сегодня?

Придя, домой, я думала, все ли в порядке с моим лицом? Я не плакала, но внутри мне было очень больно, и от этого было страшно. Я вполне осознавала, что я наделала. Я не буду в безопасности, если не выйду замуж. В первую брачную ночь я не буду девственницей. Но это не так важно, ведь он знает, что я была девственницей с ним. Как-нибудь выкручусь, порежу себя ножом, испачкаю кровью свадебную простыню. И буду, как все остальные женщины.

Я прождала три дня. Подглядывала с террасы, чтобы Файез подал мне знак о свидании. На этот раз он увел меня в маленькое укрытие из камней на другом краю поля. Обычно там пережидают дождь. В этот раз у меня не было крови. Мне все еще было больно, но уже не так страшно. Он вернулся ко мне, и это было для меня самое главное. Он был со мной, и я любила его еще сильнее. Мне было не важно, что он делает с моим телом, я любила его в голове. Он — вся моя жизнь, вся моя надежда покинуть дом моих родителей, стать женщиной, которая идет по улице с мужчиной, которая садится рядом с ним в машину, едет в магазин покупать платья и туфли, едет в город.

Я была очень счастлива, быть с ним, принадлежать ему... Он настоящий мужчина. Я видела, что для него это не впервые, он хорошо знал, что надо делать. Но я верила его словам о свадьбе, что он пока не знает когда она будет, а я тем более, но я не задавала ему лишних вопросов. В глубине души я не сомневалась в нем.

Но пока мы ждем, надо быть очень осторожной, чтобы никто меня не заподозрил. На следующее свидание я пойду другой дорогой. Я рассчитаю дополнительное время, которое мне понадобится, а пока воздержусь выходить одна через железные ворота. Дождусь, когда можно будет пойти с

матерью или сестрой. По утрам я всегда поджидала, когда Файез выходил из дома. Как только слышу шаги по гравии, быстро подходила к цементной стене. Если на улице был кто-то еще, я поворачивалась спиной; если никого не было, я ждала знака. С тех пор, как я потеряла невинность, было уже два свидания. Мы не могли видеться каждый день, это было бы неосторожно. Знак о третьем свидании я получила только через шесть дней. Я очень боялась, но испытывала к нему полное доверие. Выйдя из деревни, я следила за малейшим шумом. Я старалась не оставаться на краю поля. Я ждала, сидя со своей пастушеской палкой на траве в овраге, смотрела на пчел, ползающих по диким цветкам, и мечтала о том скором дне, когда уже не буду приглядывать за овцами и козами, когда не буду выносить навоз из конюшни. Он придет, он меня любит. Когда он соберется уходить, я скажу ему, как в первый и как во второй раз: «Не покидай меня».

Мы занимались любовью в третий раз. Солнце было желтым, мне пора было возвращаться доить коров и овец. Я сказала:

— Я люблю тебя, не покидай меня. Когда ты вернешься?

— Мы не можем видеться часто. Надо подождать немного. Надо соблюдать осторожность.

— До каких пор?

— До тех пор, пока я не подам тебе знак.

К этому моменту моя история любви продолжалась уже две недели, срок для трех свиданий на лугу среди овец. Файез был прав: надо соблюдать осторожность, а я должна быть терпеливой и ждать, когда мои родители будут говорить со мной, как они говорили со старшей сестрой Нурой. Отец не сможет больше ждать, чтобы прежде выдать замуж Кайнат! Поскольку Файез сватался ко мне, а она уже старая дева двадцати лет, отец вполне может избавиться от меня, у него есть еще две дочери! Хадижа и Салима, маленькие сестрички, будут работать в свою очередь с матерью, и заниматься стадом и сбором урожая. Фатьма, жена моего брата, опять беременна и должна скоро родить. Она тоже может работать. Я всегда со страхом ждала решения своей судьбы, потому что от меня ничего не зависело. Но я ждала слишком долго. Дни шли, а Файез не подавал мне знака. Тем не менее, я надеялась каждый вечер, что он вдруг появится ниоткуда, как он умел это делать, слева или справа от оврага, где я укрывалась.

Однажды утром я странно почувствовала себя в конюшне. От запаха навоза у меня закружилась голова. Я готовила еду, и меня затошнило от баранины. Я нервничала, мне хотелось беспричинно плакать и спать. Каждый раз, когда Файез выходил из дома, он смотрел в другую сторону, не

подавая мне никакого знака. Время тянулось долго, очень долго, и я не знала, когда у меня были последние месячные и когда должны начаться следующие. Я вспомнила, как мать спрашивала мою сестру Нуру:

— Месячные пришли?

— Да, мама.

— Ну, значит, в этот раз не получилось.

Или еще: «У тебя не пришли месячные? Очень хорошо, значит, ты забеременела!»

А мои месячные так и не пришли. Я проверяла по несколько раз на дню. Каждый раз, идя в туалет, я украдкой проверяла, нет ли крови. Иногда я чувствовала себя так странно, что надежда возвращалась. Но каждый раз ничего не было. И мне становилось так страшно, что этот страх будто сжимал мне горло, как будто меня сейчас стошнит. Я чувствовала себя по-другому, не так как прежде, у меня не было желания работать, подниматься. Мой характер изменился.

Я пыталась найти причину, помимо самой худшей. Я спрашивала себя, не шок ли от потери девственности так меняет натуру девушки. Возможно, месячные в этом случае не приходят сразу? Я ни к кому не могла обратиться за советом, самый невинный вопрос на эту тему навлек бы на мою голову гром и молнии.

И я думала об этом постоянно, весь день, и особенно вечером, когда засыпала рядом с моими сестрами. Если я забеременела, отец задушит меня бараньей шкурой. Каждое утро я просыпалась, радуясь, что еще жива.

Больше всего я боялась, что кто-нибудь в моей семье заметит, что со мной не все в порядке. Меня тошнило при виде блюда со сладким рисом, мне хотелось заснуть прямо в конюшне. Я чувствовала себя усталой, щеки побледнели, и мать, конечно, это заметила и спросила, не заболела ли я. Ведь я никогда не болела. Поэтому я пряталась, я делала вид, что все в порядке, но скрывать это становилось все трудней. А Файез не показывался. Он садился в машину в своем красивом костюме, в красивых ботинках и с чемоданчиком и уезжал так быстро, что за ним оставалось лишь облачко песка. Началось лето. С самого утра стало очень жарко. Я выводила животных на пастбище на рассвете и приводила их домой, пока солнце не поднималось слишком высоко. Я не могла больше поджидать его на террасе, хотя мне было совершенно необходимо поговорить с ним о свадьбе. Потому что у меня на носу появилось странное пятнышко. Маленькое коричневое пятнышко, которое я пыталась скрыть. Потому что очень хорошо знала, что оно означает. У Нуры было такое же, когда она была беременна. Мать посмотрела на меня удивленно:

— Что это ты делала?

— Это хна, я ее растирала пальцами и не обратила внимания.

Я и в самом деле, будто случайно испачкалась хной, пытаюсь замаскировать пятно. Но эта уловка не могла длиться долго. Я была беременна, а Файеза не видела уже больше месяца.

Мне совершенно необходимо было поговорить с ним. Однажды вечером, пока солнце еще не село, я грела воду в саду, вроде бы для стирки, и поднялась на террасу с бельем как раз в тот момент, когда он возвращался с работы. На этот раз я сама подала ему знак, кивнув головой и показывая жестами, чтобы он понял: «Я хочу тебя видеть, я сейчас пойду туда, иди за мной...»

Он увидел меня, и я вышла на улицу. Я сделала вид, что иду в конюшню ухаживать за больной овцой, но не пошла туда. Овца, в самом деле, болела, мы ждали, что она разродится, и я оставалась возле нее уже не первый раз. Однажды я даже спала рядом на соломе целую ночь, боясь, что не услышу ее.

Он пришел на наше место свиданий чуть позже меня и сразу же хотел заняться любовью, уверенный, что я позвала его ради этого. Я отшатнулась:

— Нет, не для этого я тебя хотела видеть.

— Зачем же тогда?

— Я хочу с тобой поговорить.

— Потом поговорим... Пойдем!

— Ты меня не любишь, разве нельзя нам встретиться, чтобы просто поговорить?

— Нет, я люблю тебя, я так тебя люблю, что, как только вижу, так хочу тебя.

— Файез, первый раз я ничего не хотела, потом ты меня поцеловал, потом я допустила тебя три раза, и у меня до сих пор нету месячных.

— Может быть, просто задержка?

— Нет, у меня никогда не было задержки, и я очень странно себя чувствую.

У него больше не было желания. Я посмотрела ему в лицо: он побледнел.

— Что будем делать?

— Надо пожениться быстрее, прямо сейчас! Ждать больше нельзя, тебе надо скорее поговорить с отцом, даже если не будет праздника, мне все равно.

— Люди будут болтать по деревне, так не делается!

— А что мы будем делать с простыней, которую надо вывесить на

балконе?

— Об этом не беспокойся, я все устрою, займусь этим. Но мы не можем устроить маленькую свадьбу, надо устроить большой праздник, широкую свадьбу. Я поговорю с твоим отцом. Жди меня завтра здесь, в это же время.

— Но для меня это не всегда возможно. Ты мужчина и делаешь все, что захочешь... Подожди, пока я сама подам тебе знак. Если смогу, я сниму платок и тряхну волосами. Если не сниму платок, то не приходи.

На следующий день я рискнула сказать, что пойду за травой для больной овцы. Я подала знак и побежала на свидание вся дрожа. Отец ничего не сказал мне, и я ни о чем не слышала. Я так боялась, что почти задохнулась. Он пришел через добрых полчаса после меня. Из осторожности я первая набросилась на него:

— Почему ты не поговорил с отцом?

— Я не посмел встретиться с ним с глазу на глаз, я его боюсь.

— Но тебе надо торопиться, ведь сейчас уже почти два месяца. Скоро живот будет расти, что тогда мне делать? — И я расплакалась. Тогда он сказал:

— Перестань, не плачь, когда пойдешь домой. Завтра же я поговорю с твоим отцом.

Я ему поверила, так мне хотелось ему верить. Потому что я его любила, и у меня были веские причины надеяться, потому что он уже просил отца обо мне. Я понимала, что он боится смотреть ему в лицо. Это непросто — объяснить ему, почему свадьба должна состояться так быстро. Что он противопоставит недоверчивости и озлобленности моего отца, не раскрывая тайны и не лишая чести как меня, так и себя перед семьей.

В этот вечер я молилась Богу, как обычно. Мои родители были очень религиозны, мать часто ходила в мечеть. Девочки должны были совершать молитву дважды в день, дома. На следующий день я проснулась и поблагодарила Аллаха, что все еще жива.

Когда я поднялась на террасу, его машина уже уехала. Поэтому я работала весь день, как обычно, ухаживала за овцой, чистила конюшню, ходила на пастбище со стадом, собирала помидоры.

Я ждала вечера. Я так боялась, что подобрала большой камень и ударила им себя по животу, надеясь, что появившаяся кровь возвратит прежний порядок вещей.

Последнее свидание

Наступил вечер. Я без надежды ждала прихода Файеза, одного или с родителями, так как знала, что он не придет. Сегодня уже слишком поздно. К тому же машины нет возле дома, а ставни оставались закрытыми.

Для меня это была настоящая катастрофа. Я провела ночь без сна, пытаюсь представить, что он поехал навестить куда-то свою семью, а если ставни остались закрытыми, то это из-за жары.

Удивительно, как в моей памяти отпечатались эти несколько недель моей жизни. Я с таким трудом восстанавливала события моего детства, помня только о жестокостях, не вспоминая ни об одном миге счастья или спокойствия, и при этом не забыла ничего об этих моментах украденной свободы, страха и надежды. В ту ночь, я прекрасно помню, я накрылась одеялом из бараньих шкур, подтянула колени к подбородку, держала свой живот руками, слушая малейшие ночные шорохи. Завтра он придет или не придет... Он спасет меня, он покинет меня... Это звучало какой-то навязчивой музыкой у меня в голове.

На следующее утро я увидела машину перед домом. Я сказала себе: «Он жив!» Появилась надежда. Я не могла проследить за его отъездом, но вечером, когда он приехал, я была на террасе. Я подала ему знак о завтрашнем свидании перед закатом солнца.

И в конце дня, перед самым заходом солнца, я отправилась за сеном для баранов. Я подождала его десять минут, четверть часа, надеясь, что он, может быть, спрятался подальше. Жатва уже прошла, но в некоторых местах поля я еще смогла набрать хорошие снопы, которые связала соломой. Вязанки я складывала на краю дороги, предварительно связывая их. Я работала быстро, но оставила не связанными три снопа, чтобы иметь оправдание, если вдруг кто-то пройдет, так как в этом месте меня было хорошо видно. Я склонилась над снопами, делая вид, что озабочена своей работой, впрочем, уже законченной. Я пробыла там еще с четверть часа, прежде чем пойти домой. Я сказала матери, что принесу сено через полчаса. В это время бараны уже были в стойле, коровы и козы тоже, мне оставалось только подоить их и сделать сыр на завтра. Для своих свиданий я использовала любой предлог. Я ходила к колодцу за водой для скотины, что предполагало множество кратких перемещений с большим ведром, поставленным для равновесия на голову. Кроликам была нужна сочная трава, курам — зерно, для чего я ходила подбирать колоски... То мне надо

было проверить, не начали ли зреть плоды фигового дерева, то я нуждалась в лимоне для кухни, то надо было разжечь угли в печи для хлеба.

Надо было без конца остерегаться родителей, которые, в свою очередь, не доверяли своей дочери. Дочь может много раз нарушить закон... Она пошла во двор? Что она делает во дворе? Не назначила ли она случайно свидание за хлебной печью? Она идет к колодцу? А взяла ли она с собой ведро? Неужели у скотины уже кончилась вода? Она пошла за сеном? А сколько снопов она принесет?

В тот вечер я тащила свой полотняный мешок, набитый снопами. Я наполнила его быстро и все ждала, все ждала. Я знала, что отец сидит, как обычно, под лампой возле дома и ждет, держа ремень наготове и покуривая трубку, как паша, придет ли дочь в тот час, когда она должна вернуться. Он считает минуты. У него-то есть часы, и если я сказала полчаса, это значит полчаса без одной минуты, если я не хочу получить удар ремнем.

Итак, мне осталось связать всего три снопа. Небо уже стало серым, желтый диск солнца побледнел. У меня не было часов, но мне оставалось еще несколько минут до того, как на мою деревню стремительно опустится ночь. Говорили, что солнце так устает светить, что падает камнем, внезапно погружая нас во тьму.

Я потеряла надежду. Все кончено. Он бросил меня. Я подошла к дому. Его машины не было. Утром, когда я встала, машины по-прежнему не было.

Да, это конец. Больше нет надежды жить, я это понимала. Он просто воспользовался мною, для него это был подходящий момент. Но только не для меня.

Я кусала локти, но было слишком поздно. Я больше никогда его не увижу. Спустя неделю я даже перестала подкарауливать его на террасе. Ставни розового дома оставались закрытыми, он удрал на машине, как трус и подлец. А я ни у кого не могла попросить помощи.

В три или четыре месяца живот начал расти. Пока еще я довольно хорошо скрывала его под платьем, но когда несла ведро или какой-либо груз на голове, выпрямив спину и подняв руки, я должна была прилагать значительное усилие, чтобы его не обнаружить. Пятно на носу, как я ни старалась, не пропадало. Я не могла снова ссылаться на хну, мать бы мне не поверила. Ночью страх охватывал меня сильнее всего. Я часто ходила спать к овцам. Предлог всегда легко находился. Когда овца должна родить, она кричит почти человеческим голосом, и если ее не услышать, случается, что ягненок может задохнуться в брюхе матери.

Я часто думала о той овце, у которой случились трудные роды. Тогда я просунула руку в самую глубину ее брюха и осторожно повернула голову ягненка, чтобы он занял правильное положение, и потихоньку стала тянуть его к себе. Я так боялась причинить ему боль, и я долго возилась с ним, чтобы достать его живым. Матери не удавалось его вытолкнуть, бедняжке, и я всемерно ей помогала. Но примерно через час овца все же умерла.

Ягненок оказался маленькой овечкой. Она следовала за мной по пятам, как ребенок. Когда она видела, что я ухожу, она блеяла и звала меня. Я доила сначала других овец, а потом поила ее из соски. В то время мне должно было быть лет пятнадцать. Я помогала многим овцам родить, но в памяти осталось только это воспоминание. Маленькая овечка шла за мной в сад, поднималась по лестницам в доме. Повсюду, куда бы я ни шла, она была позади меня. Мать умерла, а ягненок остался живой...

Было странно думать о том, что столько усилий прилагали, чтобы помочь разродиться овцам, в то время как моя мать душила своих собственных детей. В то время я об этом абсолютно не думала. Это был обычай, который воспринимался как должное. Воскрешая в памяти эти образы сегодня, мне хочется взбунтоваться. Если бы в то время я обладала тем сознанием, которое имею сейчас, я бы скорее удушила свою мать, чтобы спасти хотя бы одну из этих новорожденных девочек.

Мне хочется взбунтоваться из-за женщины, забитой до такой степени, что для нее убивать своих детей — это нормально. Из-за отца, такого, как мой, для которого остричь волосы своей дочери овечьими ножницами — это нормально. Бить ее палкой или ремнем — это нормально. Привязать в конюшне на всю ночь среди коров — это нормально. Что может сделать со мной отец, когда узнает, что я беременна? Мы с моей сестрой Кайнат полагали, что самое худшее, что с нами могло случиться, — это быть привязанными в конюшне. Руки связаны за спиной, во рту скомканный платок, чтобы мы не могли кричать, и ноги связаны веревкой, которой нас били. Мы были немые, стояли всю ночь, только смотрели друг на друга и думали одно и то же: «Пусть мы связаны, но мы живы».

В тот день я стирала, когда за спиной у меня послышались прихрамывающие шаги отца, а его палка стучала по плиткам двора. Он остановился позади меня, а я не смела подняться.

— Я уверен, что ты беременна.

Я уронила белье в таз, у меня не было сил поднять на него глаза. Я не могла сделать удивленный или оскорбленный вид, я не могла врать, глядя ему в лицо.

— Нет, папа, это не так.

— Так! Так! Посмотри-ка на себя. Ты растолстела. И это пятно. Ты говорила, что это от солнца, потом ты говорила, что это от хны. Мать должна посмотреть на твои груди.

Значит, это мать засомневалась первая. А он отдал приказ: «Надо, чтобы ты их показала!» — и ушел, не говоря больше ни слова.

Он меня не ударил. Я не оправдывалась, мой рот как будто парализовало. В этот раз всё, конец, я умру. Тут подошла мать. Она обошла вокруг меня, уперев руки в бока. Она была спокойна, но тверда.

— А теперь прекрати свою стирку! Показывай мне свои груди!

— Нет, пожалуйста, мама, я стесняюсь.

— Показывай, или я разорву на тебе платье!

Я стала расстегивать пуговицы от воротника до высоты груди и отогнула край платья.

— Ты беременна?

— Да нет же!

— У тебя есть месячные?

— Да, есть!

— В следующий раз, когда у тебя будут месячные, ты мне их покажешь!

Я согласилась, чтобы успокоиться самой и успокоить ее, и ради собственной безопасности. Я знаю, что мне надо порезаться, чтобы вымазать кровью бумагу и показать ей в следующую луну.

Я бросила стирку и ушла из дома, пройдя через сад, без разрешения. Я спряталась в ветвях старого лимонного дерева. Конечно, глупо прятаться, таким образом, разве спасет меня это лимонное дерево? Но мне стало так страшно, что я была вне себя. Отец очень быстро обнаружил меня там, куда я забралась, как коза среди листвы. Он дернул меня за ноги, и я упала.

Я разбила колено, и он повел меня в дом. Он взял листья шалфея, разжевал их и приложил эту кашицу к ране, чтобы остановить кровь. Это было странно. Я не понимала, зачем после того, как он грубо сдернул меня с дерева, он вдруг стал проявлять обо мне заботу, чего никогда раньше не делал. В тот самый момент я даже сказала себе, что не такой уж он и злой. Он поверил тому, что я ему сказала. Только спустя время я подумала, не делал ли он это, чтобы не дать мне возможность с помощью крови из разбитого колена симитировать свои месячные...

От падения у меня заболел живот, и я надеялась, что из-за этого начнется кровотечение.

Немного позже состоялся семейный совет, на котором мне не разрешили присутствовать. Мои родители позвали Нуру и Хуссейна. Я

слушала из-за стены. Они говорили все вместе, и я слышала, как отец сказал: «Я уверен, что она беременна, она не хочет нам это говорить, мы подождем, пока она покажет нам месячные...»

Когда они закончили говорить, я поднялась на второй этаж и сделала вид, что сплю.

На следующий день мои родители поехали в город. Мне было запрещено выходить из дому. Ворота во дворе были закрыты, но я прошла через сад и вышла из деревни. Я подобрала большой камень и начала бить себя по животу, через платье, чтобы вызвать кровотечение. Никто никогда не говорил мне, как в животе матери происходит рост ребенка. Я знала, что в определенный момент ребенок начинает шевелиться. Я видела беременной свою мать, я знала, сколько времени надо, чтобы ребенок появился на свет, но я не знала ничего другого. С какого момента ребенок живой? Я полагала, что с рождения, потому что именно в момент рождения, как я видела, мать решала, оставить его в живых или нет. Я горячо надеялась, а тогда у меня было три с половиной или четыре месяца беременности, что у меня возобновятся месячные. Я думала только об этом. Я даже представить не могла, что этот ребенок у меня в животе — уже человеческое существо.

И я плакала от ярости, от страха, потому что кровь все не проявлялась. Потому что родители должны вернуться, а я — быть дома еще до их прихода.

Сейчас это воспоминание причиняет мне боль... Я чувствую себя такой виноватой. Конечно, я могу утешать себя, что не знала ни о чем, была запугана тем, что меня ожидало, но это кошмар — думать о том, как я била по животу, чтобы умертвить своего ребенка.

На следующий день я делала то же самое — ударяла по животу, чем попало и каждый раз, когда могла. Мать выжидала. Она дала мне месяц срока с того дня, когда заставила показать ей груди. Я знала, что в уме она все просчитала, а пока запретила мне выходить. Я не должна была покидать дом и могла заниматься только работой по хозяйству. Мать сказала мне: «Не смей выходить за ворота! Ты больше не пойдешь, пасти овец, ты не пойдешь больше за сеном».

Я могла бы убежать через сад и соседский огород, но куда мне идти? Я никогда не ездила одна на автобусе, у меня не было денег, да и шофер бы меня не посадил.

Должно быть, я была на пятом месяце. Я почувствовала шевеление у себя в животе и как безумная бросилась на угол стены. Я больше не могла ни обманывать, ни скрывать свои груди и живот, у меня не было выхода.

Единственный выход и единственная возможность спасения, — подумала я, — это убежать из дому и спрятаться у сестры моей матери. Она жила в нашей же деревне. Я знала ее дом. И вот утром, когда мои родители уехали на рынок, я пошла через сад, прошла перед колодцем, перепрыгнула через ограду и побежала к ней. Я не очень-то на нее надеялась, потому что она была злая, очень ревниво относилась к моей матери, но из-за чего, я не знаю. Но может быть, именно она приютит меня у себя и поможет найти решение. Когда она увидела, что я пришла одна, она, прежде всего, подумала, не случилось ли чего с родителями. Почему они не пришли со мной?

— Тетя, ты должна мне помочь.

И я рассказала ей все и о свадьбе, о которой договорились, а потом отложили, и о пшеничном поле.

— Кто он?

— Его зовут Файез, но его больше нет в деревне, он ведь обещал мне...

— Хорошо, я тебе помогу.

Она оделась, накинула платок и взяла меня за руку.

— Пойдем, прогуляемся вместе.

— Но куда? Что ты будешь делать?

— Пойдем, дай мне руку, ты не должна идти одна.

Я вообразила, что она ведет меня к какой-то другой женщине, соседке, знающей секрет, чтобы вернуть месячные или сделать так, чтобы ребенок перестал расти в животе. Или она спрячет меня где-нибудь, пока я не смогу освободиться.

Но она повела меня к дому. Она тащила меня, как упрямого осла, который не хочет идти.

— Зачем ты ведешь меня домой? Помоги мне, умоляю тебя!

— Потому что здесь твое место, и они, а не я должны о тебе позаботиться.

— Умоляю тебя, останься со мной. Ты ведь знаешь, что они со мной сделают!

— Здесь твое место! Ты поняла меня? И никогда не выходи из дому!

Она заставила меня пройти через ворота, позвала родителей, повернулась и ушла не оглядываясь. Я видела на ее лице выражение злобы и презрения. Должно быть, она думала: «Моя сестра пригрела змею в своем доме, такая дочь обесчестила всю семью».

Отец закрыл ворота, а мать бросила на меня уничтожающий взгляд, дернула подбородком и сделала рукой такое движение, словно говорила:

«Шармута... Потаскуха... ты осмелилась еще пойти к моей сестре!» Они обе ненавидели друг друга. Беда не приходит одна. «Да, я была у нее, я думала, что она сможет мне помочь, спрятать меня...» — «Вернись, поднимайся в комнату!»

Я дрожала всем телом, ноги меня не слушались. Я не знала, что меня ожидает, когда я поднимусь в комнату. Я не могла сделать ни шагу. «Суад! Поднимайся!»

Моя сестра больше не говорила со мной. Ей было стыдно, как и мне, она тоже больше не выходила из дому. Мать работала как обычно. Другие сестры ухаживали за скотиной, а меня заперли в комнате, как будто я была заразная. Иногда я слышала, как они разговаривали между собой. Они боялись, что кто-нибудь мог увидеть меня в деревне, потому что уже поползли слухи. Пытаясь спасти свою шкуру и укрыться у своей тетки, я особенно сильно задела честь матери. Соседи узнают, языки будут болтать, а уши слушать.

С того дня я не выходила из дому. На двери моей комнаты отец сделал новую задвижку, которая клацала каждый вечер как ружейный выстрел. Дверь в сад издавала тот же звук.

Иногда, намывая двор, я смотрела на эту дверь с содроганием и стеснением в груди. Никогда мне не выйти отсюда. Я даже не отдавала себе отчет, что эта дверь нелепая, потому что сад и каменная ограда вокруг него не являются непреодолимой преградой. Я уже не раз через них проходила. Но в моем случае любая девушка чувствовала бы себя в настоящей тюрьме. Снаружи было еще хуже. Снаружи были стыд, презрение, побивание камнями, соседки, плюющие мне в лицо или тянущие меня за волосы, чтобы вернуть домой. Наружу мне не хотелось. Недели шли. Никто меня ни о чем не спрашивал, никто не хотел узнать, кто мне это все сделал, как и почему. Даже если бы я обвиняла Файеза, мой отец не пойдет к нему, чтобы выдать меня замуж. Это моя вина, а не его. Мужчина, отнявший честь девушки, не виноват, это она так захотела. Хуже того, она сама его попросила! Она сама его спровоцировала, потому что она бесстыдная шлюха. И мне нечем было себя защитить. Моя наивность, моя любовь к нему, его обещания жениться, даже его первое обращение к моему отцу — все это было не в счет. У нас уважающий себя мужчина не женится на девушке, которую он сам же лишил невинности еще до свадьбы.

Любил ли он меня? Нет. И если я совершила ошибку, то только ту, что верила, будто я удержу его, делая все, что он захочет. Была ли я влюблена? Боялась ли я, что он найдет другую? Это оправданием не считается... даже для меня оно потеряло смысл.

Как-то вечером состоялся еще один семейный совет: мои родители, моя старшая сестра и ее муж Хуссейн. Мой брат не пришел, потому что его жена должна была родить, и он пошел вместе с ней к ее родителям.

Я слушала за стенкой, объятая ужасом. Мать говорила Хуссейну:

— Мы не можем просить сына, он не сможет, к тому же он слишком молод.

— Ничего, я ей займусь.

Тут заговорил отец:

— Уж коли ты должен сделать это, надо сделать все как полагается. Как ты думаешь?

— Не волнуйся, я найду способ.

И снова мать:

— Ты должен заняться ею, но надо, чтобы ты избавился от нее за один раз.

Я слышала, как моя сестра заплакала: она не может это слушать и хочет вернуться к себе. Хуссейн велел ей подождать и добавил несколько слов для родителей:

— Вы сами уйдете. Уходите из дому, не надо, чтобы вы были здесь. Когда вернетесь, дело будет сделано.

Своими собственными ушами я слышала, как меня приговорили к смерти, и я бросилась наверх, потому что из комнаты выходила сестра. Я не слышала продолжения разговора. Несколько позже отец обошел дом, и дверь комнаты девочек захлопнулась.

Я не могла сомкнуть глаз. Мне никак не удавалось осознать то, что я услышала. Я говорила себе: может, это сон? Может быть, это кошмар? Неужели, правда, они хотят это сделать? А может быть, просто хотят меня испугать? А если они это сделают, то когда? И как? Отрежут мне голову?

А может быть, они дадут родить мне ребенка, а убьют меня потом? Сохранят ли они его, если это будет мальчик? Удушит ли мать ребенка, если родится девочка?

А если они убьют меня до этого?

На следующий день я вела себя так, будто ничего не знала. Я была настороже, но все же до конца не верила в их намерения. А потом я снова начала дрожать и уже поверила. Единственный вопрос меня мучил: когда и где? Это не могло случиться так сразу... к тому же и Хуссейн ушел. И потом я не могла вообразить, что Хуссейн хочет меня убить!

Мать сказала мне в тот день тем же тоном, что и обычно: «Сегодня займешься стиркой, мы с отцом уезжаем в город».

Я знала, что произойдет. Они уходили из дому, как и говорил Хуссейн.

Когда недавно я вспоминала об исчезновении моей сестры Ханан, я обратила внимание, что и тогда было то же самое. Родители ушли, девочки остались одни с братом. Единственная разница в том, что касалось меня, была в том, что Хуссейна еще не было. Я осмотрела двор: он был большим, частью замощен плиткой, остальное покрыто песком. Вокруг двора была стена, наверху высокая решетка с острыми пиками. А в углу металлические серые ворота, гладкие со стороны двора, без замочной скважины и ключа, и только снаружи единственная ручка.

Моя сестра Кайнат никогда не стирала вместе со мной, у нас не было необходимости быть вдвоем.

Я не знаю, какую работу поручили ей, не знаю, где она была с малышками. Она со мной больше не разговаривала. С тех пор, как я пыталась убежать к тете, она спала рядом со мной, повернувшись ко мне спиной.

Мать ждала, пока я соберу белье в стирку. Набралось много, потому что обычно мы стирали раз в неделю. Если я начну стирать часа в два-три пополудни, то едва закончу к шести вечера.

Сначала я пошла за водой к колодцу в глубине сада. У меня были дрова на растопку, я поставила большой таз и налила воды наполовину. Я села рядом на камне и стала ждать, пока она нагреется.

Мои родители вышли через дверь в доме, которую они закрыли за собой на ключ. Я была с другой стороны в этом дворе. Я постоянно шевелила угли. Огонь не должен ослабевать: надо, чтобы вода была очень горячей, чтобы замочить в ней белье. Я буду намыливать грязные пятна мылом из оливкового масла, а потом вернусь к колодцу за водой для полоскания.

Эта работа долгая и утомительная, и я занималась ею многие годы, но в тот момент она была для меня особенно тяжелой.

Я сидела босиком на своем камне, в сером полотняном платье, уставшая от вечного страха. Из-за этого животного страха я даже не знала, какой у меня срок беременности. Во всяком случае, больше шести месяцев. Время от времени я смотрела на ворота, там, в глубине огромного двора. Они меня завораживали.

Если он придет, то должен войти через них.

Огонь

И вдруг я услышала, как хлопнула дверь. Он был здесь, он приближался.

Как будто время остановилось — так отчетливо я вижу все двадцать пять лет спустя. Это были последние мгновения моего тогдашнего существования, там, в моей палестинской деревне. Они проходят передо мной как замедленная съемка в кино по телевизору. Они без конца возвращаются ко мне. Я хотела бы стереть эти образы, но не могу остановить фильм. Когда дверь хлопнула, уже было слишком поздно, чтобы его остановить, и мне надо их досмотреть, эти кадры, потому что я все пытаюсь понять то, что не поняла тогда: как он это сделал? Могла ли я избежать этого, если бы тогда поняла?

Он подошел ко мне. Хуссейн, муж моей сестры, был в рабочей одежде, старых брюках и майке. Он подошел ко мне и сказал с улыбкой: «Привет, как дела?» Он жевал травинку и всё улыбался: «Сейчас займусь тобой».

Эта улыбка... он сказал, что займется мной, чего я совсем не ожидала. Я тоже попыталась улыбнуться в знак благодарности, не смея проронить ни слова.

— Ну что, живот растет, да?

Я опустила голову, мне стыдно было на него смотреть. Я опустила голову так низко, что лбом достала до колен.

— У тебя там пятно. Что, хной нарочно испачкалась?

— Нет, я хной красила волосы, я ненарочно.

— Нет, нарочно, чтобы его скрыть.

Я рассматривала белье, которое как раз полоскала, и руки у меня дрожали.

Это был последний четкий кадр. Это белье и мои дрожащие руки. И последние слова, которые я услышала от него: «Нет, нарочно, чтобы его скрыть».

Он ничего не говорил, а я сидела, уткнув голову в колени, готовая провалиться от стыда, но, чувствуя облегчение от того, что он больше ни о чем меня не спрашивал.

Вдруг я почувствовала, как что-то холодное льется мне на голову. И тут же на мне вспыхнул огонь. Я поняла, что это огонь, и кадры фильма замелькали с бешеной скоростью. Я вскочила и босиком бросилась в сад, я била руками по волосам, я кричала, я чувствовала, как платье вздулось у

меня за спиной. Горело ли и платье тоже?

Я ощущала запах бензина и бежала, но платье мешало мне бежать быстро. Ужас инстинктивно гнал меня подальше от двора. Я бежала в сад, потому что другого выхода не было. Но потом я почти ничего не помню. Я знаю, что на мне был огонь, и я кричала. Как мне удалось выскочить? Бежал ли он следом за мной? Или ждал, пока я упаду, чтобы посмотреть, как я полыхаю?

Я взобралась на каменную ограду сада и оказалась то ли в соседнем саду, то ли на улице. Там были женщины, кажется, две, значит, это было точно на улице. Они пытались сбить с меня огонь, вероятно, своими платками.

Они дотащили меня до родника, и на меня вдруг полилась вода, а я все вопила от страха. Я слышала, как эти женщины кричали, но больше я ничего не видела. Моя голова свесилась на грудь, я чувствовала, как ледяная вода лилась на меня без конца, а я кричала от боли, потому что холодная вода жгла меня, как огонь. Я вся сжалась в комок, я чувствовала запах горелого мяса и дыма. Скорее всего, я провалилась в обморок. Я почти ничего не видела. В памяти всплывают какие-то размытые образы, звуки, как будто я в отцовском грузовичке. Но это был не отец. Я слышала голоса женщин, которые плакали, глядя на меня: «Бедная... бедная...» Они меня утешали. Я лежала в машине. Я чувствовала, как она подпрыгивает на ухабах. Слышала собственные стоны.

А потом больше ничего, а потом опять урчание машины и голоса женщин. А я все горела, как будто огонь продолжал меня жечь. Я не могла поднять голову, не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, я была вся в огне, все еще в огне... Я все еще чувствовала отвратительный запах бензина, я не понимала, что это за машина, почему рыдали эти женщины, я не знала, куда они меня везут. Если я открывала глаза, я видела только кусочек своего платья или своей кожи. Черная копоть и зловоние. Я все еще горела, а ведь на мне не было больше огня. Но я все же горела. В моем сознании я все еще бежала, объятая пламенем.

Я умру. Это хорошо. Может быть, я уже умерла. Наконец-то все кончено.

Умереть

Я лежала на больничной койке, свернувшись калачиком под простыней. Пришла медсестра, чтобы оторвать от моего тела платье. Она со злостью отрывала куски ткани, и боль меня просто парализовала. Я почти ничего не видела, мой подбородок приклеился к груди, я не могла поднять голову. Да и рукой шевельнуть я тоже не могла. Боль была на голове, на плечах, в спине, на груди. От меня исходил ужасный запах. Эта медсестра была такая злая, что я ее испугалась, когда увидела, как она вошла. Она со мной не разговаривала. Она содрала с меня куски кожи, поставила компресс и ушла. Если бы она могла меня умертвить, я не сомневаюсь, она бы это сделала. Я была грязной девкой, если меня сожгли, а я этого заслуживала, потому что была беременна, не будучи замужем. Я хорошо знала, что она обо мне думала.

Чернота. Кома. Сколько времени прошло, ночь сейчас или день?..

Никто не хотел ко мне прикасаться, никто мною не занимался, мне не давали ни пить, ни есть, ждали, когда я умру.

И я хотела умереть, так мне было стыдно, что я все еще живу. Как же мне было больно. Это не сама я шевелилась, это опять пришла та злая женщина, которая поворачивала меня, чтобы сдирать куски. И ничего другого. Мне хотелось, чтобы кожу намазали маслом, утихомирили жжение, чтобы с меня сняли простыню и чтобы ветерок подул на меня прохладой. Пришел доктор. Я увидела ноги в брюках и белый халат. Он что-то сказал, но я ничего не поняла. И все время эта злая женщина ходила туда-обратно. Я могла пошевелить ногами, чтобы время от времени приподнять простыню. На спине мне было очень больно, на боку мне было очень больно. Я спала, а голова у меня по-прежнему была приклеена к груди. Голова была опущена, словно огонь все еще бушевал на мне. Мои руки были странные, слегка разведены и обе парализованы. Кисти рук были на месте, но ничего не могли сделать. А мне так хотелось исцарапать себя, содрать всю кожу, чтобы больше не страдать.

Меня заставили встать. Я пошла с этой медсестрой. У меня болели глаза. Я видела свои ноги, свои висящие по бокам руки, плитки на полу. Я ненавидела эту женщину. Она привела меня в ванную комнату и налила воды, чтобы меня умыть. Она сказала, что от меня так воняет, что ее сейчас стошнит. Я воняла, я плакала, я была там куском дерьма, нечистотами, на которые вылили ведро воды. Словно какашка в унитазе, которую смывают,

спуская воду, и все. Я умирала. Вода сдирала с меня кожу, я кричала, плакала, умоляла, кровь текла по телу и капала с пальцев. Она заставила меня стоять. Струями холодной воды она сдирала с меня куски черной кожи, остатки моего обгоревшего платья, вонючие лохмотья которого образовали кучку на полу душевой. От меня исходил такой ужасный запах тления, горелого мяса и дыма, что она надела маску и время от времени выходила из помещения, кашляя и проклиная меня.

Я вызывала у нее отвращение, я должна была сдохнуть как собака, но подальше от нее. Почему она меня не прикончила? Я вернулась в свою кровать, горя и замерзая одновременно, и она набросила на меня простыню, чтобы больше меня не видеть. Подыхай, говорил ее взгляд. Подыхай, чтобы тебя вышвырнули отсюда.

Пришел отец со своей палкой. Он был зол, стучал своей палкой по полу, хотел узнать, кто сделал меня беременной, кто привел меня сюда, как все произошло. У него были красные глаза. Он плакал, старый человек, но все еще внушал мне страх своей палкой, и мне даже не удалось ему ответить. Я хотела спать, или умереть, или проснуться, отец был здесь, а потом его не стало. Но это был не сон, его голос до сих пор звучит у меня в голове: «Говори!»

Мне удалось присесть, чтобы не чувствовать свои руки приклеенными к простыне, под головой была подушка. Мне было ничуть не легче, но я хотя бы могла видеть, что происходит в коридоре, дверь была приоткрыта. Я услышала, что кто-то подошел, заметила босые ноги, длинное черное платье, небольшая, худая, как я, почти тощая. Но это не медсестра. Это была моя мать.

Две ее косы были намазаны оливковым маслом, черный платок, ее необычный лоб, выпуклый между бровями и достигающий до носа, как у хищной птицы. Мне стало страшно. Она села на табурет, прижимая к себе черную хозяйственную сумку. И начала рыдать, причитать, вытирая слезы платком и качая головой.

Она плакала от горького стыда. Она плакала о себе и всей семье. И я видела ненависть в ее глазах.

Она спрашивала меня, прижимая к себе сумку. Я хорошо помнила эту сумку. Она всегда носила ее с собой, когда уходила из дому, шла на рынок или в поле. Она клала туда хлеб, воду в пластиковой бутылке, иногда молоко. Мне было страшно, но не так, как в присутствии отца, не так, как обычно. Отец мог меня убить, но она — нет.

Она говорила со стоном, а я отвечала ей шепотом.

— Посмотри на себя, дочь моя... Я не смогу никогда привести тебя в

дом в таком виде. Ты не сможешь больше жить в доме, ты видела себя?

— Я не могу себя увидеть.

— Ты сожжена. Позор на всю семью. Теперь я не могу тебя вернуть в дом. Скажи мне, как ты забеременела? С кем?

— Файез. Я не знаю фамилии его отца.

— Файез, наш сосед?

Она опять принялась плакать и промокать платком глаза, скомкав его так, словно хотела вдавить его в голову.

— Где ты это сделала? Где?

— На пастбище.

Она скривилась, стала кусать губы и заплакала пуще прежнего: «Послушай меня, дочь моя, послушай. Я бы очень хотела, чтобы ты умерла, будет лучше, если ты умрешь. Твой брат молод, если ты не умрешь, у него будут проблемы».

У моего брата будут проблемы. Какие проблемы? Я не понимала.

«К нам в дом приходила полиция. Расспрашивала всю нашу семью. И отца, и брата, и меня, и мужа твоей сестры, всю семью. Если ты не умрешь, у твоего брата появятся проблемы с полицией».

Она вытащила стакан, вероятно, из своей сумки, потому что вокруг меня ничего не было. Ни стола возле кровати, ничего такого. Но я и не видела, чтобы она рылась в своей сумке, она взяла его на подоконнике, это был больничный стакан. Но я не видела, что она туда налила.

«Если ты не выпьешь это, у твоего брата будут проблемы, полиция уже приходила в дом».

Может быть, она налила его, пока я плакала от стыда, боли и страха. Я плакала из-за многих вещей, с опущенной головой и закрытыми глазами.

«Выпей этот стакан... Это я тебе его даю».

Никогда не забуду я этот большой стакан, наполненный до краев прозрачной жидкостью, похожей на воду.

«Ты выпьешь это, и у твоего брата не будет проблем. Так будет лучше. Лучше для тебя, лучше для меня, лучше для твоего брата».

Она заплакала, и я тоже. Я помню, как слезы текли по моему сожженному подбородку, вдоль шеи и разъедали мне кожу.

Но я не могла поднять руки. Она взяла рукой мою голову и пыталась приподнять ее, чтобы я достала до стакана, который она держала в другой руке. До этого момента никто не давал мне пить. Она подвинула этот большой стакан к моим губам. Я хотела хотя бы намочить губы в стакане, до такой степени мне хотелось пить. Я хотела поднять подбородок, но мне не удалось.

Вдруг вошел доктор, и мать подскочила с табуретки. Он резко вырвал у нее стакан, поставил его на подоконник и громко крикнул: «Нет!» Я видела, как жидкость пролилась на подоконник, прозрачная и чистая, как вода.

Врач взял мою мать за руку и вывел ее из палаты. А я все смотрела на стакан, я бы выпила его с земли, я бы подлизала его языком, как собака. Я хотела пить так же сильно, как и умереть.

Вернулся врач и сказал мне:

«Тебе повезло, что я вошел как раз вовремя. Сначала твой отец, а теперь твоя мать! Никто из твоих родственников больше сюда не войдет!»

Он взял стакан с собой и повторил: «Тебе повезло... Никого больше не хочу видеть из твоей семьи!» — «А мой брат Ассад, мне бы так хотелось с ним увидеться, он добрый».

Не знаю, что он мне ответил. Я была такая чудная, у меня все кружилось в голове. Моя мать что-то говорила мне о полиции, о неприятностях, которые грозят моему брату? Почему ему, ведь это Хуссейн поджег меня? И этот стакан, чтобы помочь мне умереть. На подоконнике до сих пор не высохло пятно. Мать хотела, чтобы я умерла, и я тоже этого хотела. А доктор сказал, что мне повезло, потому что я чуть не выпила этот невидимый яд. Я чувствовала себя освободившейся, словно смерть уже призывала меня, а врач заставил ее исчезнуть за одну секунду. Моя мать была превосходной матерью, лучшей из матерей, она выполняла свой долг, предлагая мне смерть. Это было бы лучше для меня. Не надо было спасать меня от огня, везти сюда, чтобы продолжать мои страдания, оставлять меня на медленную смерть, чтобы смыть позор с меня и моей семьи.

Через три-четыре дня пришел мой брат. Никогда не забуду тот прозрачный пластиковый мешок, что он принес, в котором были видны апельсины и банан. За все время, что я здесь находилась, мне не давали ни пить, ни есть. Сама я не могла, но никто и не пытался мне помочь. Даже врач не осмеливался. Я поняла, что меня оставили умирать, потому что не надо было вмешиваться в мою историю. В глазах всех я была виновна. Я подверглась участи всех женщин, запачкавших честь мужчин. Меня помыли только потому, что я нестерпимо воняла, а не, потому что мне хотели помочь. Меня оставили здесь, потому что это была больница, где я должна была умереть, не создавая лишних проблем моим родителям и всей моей деревне.

Хуссейн плохо выполнил свою работу, он дал мне выбежать, когда я горела.

Ассад не задавал мне вопросов. Он боялся и торопился вернуться в деревню: «Я прошел по полю, чтобы никто меня не заметил. Если родители

узнают, что я заходил к тебе, мне несдобровать».

Мне хотелось, чтобы он пришел, но при этом я испытывала тревогу, глядя, как он наклоняется надо мной. В его глазах я видела, что вызываю в нем отвращение своими ожогами. Но никто, даже он, не удосужился узнать, до какой степени я страдала от этой разлагающейся на мне кожи, которая гнила, кровоточила, медленно разъедала, как змеиный яд, всю верхнюю половину моего тела, мой обгоревший череп без волос, плечи, спину, руки, грудь.

Я много плакала. Потому ли, что знала, что я вижу его в последний раз? А может быть, потому что мне безумно хотелось увидеть его детей? Его жена должна была вот-вот родить. Позже я узнала, что у нее было два мальчика. Вся семья, должно быть, восхищалась ею и поздравляла.

Я не смогла съесть фрукты. Одной мне это было не под силу, и мешок исчез.

Я больше никогда не видела свою семью. В моей памяти запечатлелись их последние образы: мать со стаканом отравленной воды, отец грозно ударяющий по полу своей палкой. И мой брат с пакетом фруктов.

В самой глубине моего страдания я все еще пыталась понять, как это я не увидела, когда на мне вспыхнул огонь. Рядом со мной стояла канистра с бензином, но она была закрыта пробкой. Я не видела, чтобы Хуссейн ее брал. Я опустила голову, когда он говорил, что «займется мною», и в течение нескольких секунд я думала, что спасена, из-за его улыбки и этой травинки, которую он так спокойно жевал. В действительности же он хотел войти ко мне в доверие, чтобы я не вздумала убежать. Он все предусмотрел с моими родителями еще накануне. А где он взял огонь? В печи? Я не видела. Возможно, воспользовался спичкой, чтобы сделать все побыстрее? Рядом со мной всегда был коробок спичек, но опять же, я ничего не видела. Остается еще зажигалка у него в кармане... Не успела я почувствовать холодную струю, льющуюся мне на голову, как я уже вспыхнула. Мне очень хотелось узнать, почему же я ничего не видела.

Ночью, когда я лежала пластом на своей кровати, начался нескончаемый кошмар. Я находилась в полной темноте, я видела занавески вокруг меня, а окно исчезло. Странная боль пронзила меня, словно в живот мне всадили нож, ноги у меня дрожали... я умирала. Я попробовала приподняться, но не смогла. Руки по-прежнему меня не слушались, это были сплошные отвратительные раны. Никого не было рядом, я совершенно одна, кто же всадил мне нож в живот?

Я почувствовала между ног что-то странное. Я попробовала согнуть одну ногу, потом другую, я поискала пальцами ног и попыталась

избавиться сама от того, что меня так напугало. Вначале я даже не могла сообразить, что у меня начались роды. Ногами я ощупывала в темноте. Я вытолкнула, еще не зная, что это, тело ребенка под простыню. Я замерла неподвижно, опустошенная этими усилиями. Я сдвинула ноги и кожей с внутренней стороны бедер почувствовала младенца. Он немного шевелился. Я затаила дыхание. Как же он так быстро выбрался? Удар ножом в живот, и вот он уже здесь? Мне хотелось провалиться в сон, ведь это невозможно, ребенок не может появиться так сразу, без помощи, без предупреждения. Мне казалось, что этот кошмар все продолжается.

Но ведь я не сплю, потому что я чувствую его здесь, между колен, кожей ног. Ноги у меня не обгорели, поэтому кожа ног и ступней не потеряла чувствительности. Я боялась пошевелиться, потом я приподняла ступню и попыталась, как я сделала бы это рукой, ощупать младенца... крошечная головка, слабо шевелящиеся ручки.

Должно быть, я закричала. Не помню точно. В комнату вошел врач, отдернул занавески, но я оставалась в темноте. Наверное, на дворе была ночь. Я видела только свет, просачивающийся через открытую дверь из коридора. Врач наклонился, отбросил простыню и забрал ребенка, даже не показав его мне.

Я больше ничего не чувствовала между ног. Кто-то задернул занавески. Ничего другого я не помню. Должно быть, я была без сознания, возможно, долго спала, точно не знаю. Только назавтра и в последующие дни я обрела уверенность, что ребенка в моем животе уже не было.

Я не знала, жив он или умер, никто со мной не разговаривал, а сама я не осмеливалась спросить у злой медсестры, что сделали с моим ребенком.

Пусть он меня простит, но я была неспособна осознать всю реальность происходящего. Я знала, что родила, но я не видела ребенка, мне не дали его поддержать, я не знала, мальчик это или девочка. В тот момент я не могла ощутить себя матерью, я была всего лишь куском человеческой плоти, приговоренным к смерти. И самым сильным чувством был стыд. Позже врач сказал, что я родила семимесячного, совсем крошечного ребенка, он был жив, и за ним ухаживали. Я слышала неотчетливо, мои обгоревшие уши причиняли мне нестерпимую боль. Верхняя часть тела мучительно болела, и я впадала то в кому, то в полусон, не замечая смену дня и ночи. Все надеялись, что я скоро умру, и ждали этого.

Я же видела, что Бог не хочет посылать мне скорую смерть. Дни и ночи спутались в единый кошмар, а в редкие моменты прояснения сознания я мечтала лишь об одном: содрать ногтями эту зловонную больную кожу, которая продолжала меня пожирать. Но, к несчастью, руки мне не

подчинялись.

Однажды кто-то вошел в мою палату, посреди этого кошмара. Я почувствовала чье-то присутствие, еще никого не видя. Женская рука, как тень, пробежала над моим лицом, не касаясь его. Женский голос сказал мне по-арабски со странным акцентом: «Я помогу тебе... Доверься мне, я тебе помогу, ты меня слышишь?»

Я сказала «да», не веря ни во что, мне было так плохо на этой кровати, я была покинута и презираема всеми. Я не понимала, как можно мне помочь, а главное, кто сможет это сделать.

Вернуть меня в семью? Но она больше не хочет меня. Женщина, сожженная ради чести семьи, должна быть окончательно сожжена. Помочь мне не страдать больше, помочь мне умереть — вот единственное решение.

Но я сказала «да» этому женскому голосу, хотя и не знала, кому он принадлежал.

Жаклин

Меня зовут Жаклин. В то время я находилась на Ближнем Востоке, где работала в гуманитарной организации «Земля людей». Я ходила по госпиталям в поисках детей, брошенных родственниками, искалеченных или голодающих. Я сотрудничала с Международным Красным Крестом и другими организациями, занимающимися палестинцами и израильтянами. Поэтому мне приходилось работать в обоих сообществах, иметь контакты с тем и другим населением. Я жила среди них.

Но лишь спустя семь лет после моего приезда на Ближний Восток я слышала об убийствах девушек. Их семьи обвиняли их в том, что они встречались с парнями или даже просто говорили с ними. Их часто подозревали, не имея на то ни малейшего основания, кто угодно мог плохо отозваться о девушке, и этого было достаточно. Случалось, что у девушек, в самом деле, были отношения с парнями, что совершенно недопустимо в том обществе, где только отец может принять решение о свадьбе. Я слышала об этом... Мне рассказывали... Но до сего дня я не сталкивалась с подобными случаями.

Людам на Западе, особенно в наше время, совершенно невероятной кажется сама мысль о том, что родители или братья могут убить свою дочь или сестру только из-за того, что она влюбилась. У нас женщины освободились, участвуют в выборах, никого не спрашивают, решив завести ребенка...

Но я находилась там уже семь лет, и сразу же поверила, несмотря на то, что сама этого не видела и мне впервые рассказали о подобном случае. Надо было приобрести безоговорочное доверие, чтобы говорить о предмете, представляющем табу, вроде этого. Дело семьи не касается никого, и в первую очередь иностранцев. Но одна подруга-христианка решила мне рассказать о нем. С ней я часто контактировала, потому что она занималась детьми. Ей приходилось проводить много времени с матерями, приезжавшими со всей страны, из разных деревень. Она была среди них вроде мухтара этого региона, то есть приглашала женщин на чашку чая или кофе и разговаривала с ними, обсуждая события у них в деревне. Такая форма общения здесь распространена. Они пьют каждый день чай или кофе и общаются между собой. Таков обычай, а значит, ей легче выявить случаи, когда дети оказываются в тяжелом положении.

Однажды она слышала, как в такой группе женщин было сказано: «В

одной деревне девушку, которая вела себя недостойно, родственники попытались сжечь. Говорят, она где-то в госпитале».

Эта моя подруга имеет определенную харизму, ее уважают, и она демонстрирует необыкновенную силу духа, поэтому я рассчитывала узнать продолжение этой истории. Обычно она занимается только детьми, но мать никогда не стоит далеко от ребенка! И вот к 15 сентября того же года она мне сказала:

— Послушай, Жаклин, в госпитале находится девушка, которая медленно умирает. Социальный служащий подтвердил мне, что она была сожжена кем-то из родственников. Как ты думаешь, сможешь ли ты что-нибудь сделать?

— Что ты еще знаешь?

— Только то, что она была беременна, и в деревне говорили: «Правильно, что ее наказали, теперь она умрет в больнице».

— Это чудовищно!

— Я знаю, но здесь это так. Она беременна, и потому должна умереть. Вот и все. Это нормально. Они говорят: «Бедные родители!» Они жалеют их, а не девушку. Впрочем, она, в самом деле, скоро умрет, насколько я слышала.

Подобные истории меня всегда тревожат и волнуют. В то время я работала под руководством необыкновенного человека Эдмонда Кайзера. В своей первой командировке я занималась детьми. И хотя я никогда не встречалась с подобными случаями, но сказала себе: «Жаклин, дорогая, ты должна пойти и посмотреть своими глазами, что там происходит!»

Я поехала в этот госпиталь, который знала довольно плохо, потому что бывала там очень редко. Вообще у меня нет проблем, потому что я знаю страну, обычаи, могу объясниться на языке, да и в госпиталях я провела немало времени. Я просто спросила, кто покажет мне, где лежит сожженная девушка. Меня провели без проблем в большую палату. У меня сразу возникло впечатление, что это помещение для ссыльных.

Довольно темная комната с решетками на окнах, две кровати и больше ничего.

Поскольку девушек было две, я спросила медсестру:

— Я ищу ту, которая только что родила.

— Ах, эту! Да вот она!

И все. Медсестра ушла. Она не задержалась даже в коридоре. Не спросила, кто я такая, ничего! Только указала в направлении одной из кроватей: «Да вот она!»

У одной из девушек были очень короткие вьющиеся волосы, у другой

— прямые и чуть длиннее. У обеих черные лица, покрытые сажей. Тела спрятаны под простыней. Я знала, что они здесь довольно давно, недели две, как мне сказали. Было очевидно, что они не могли говорить. Обе агонизировали. Та, что с прямыми волосами, была в коме. Другая, которая родила ребенка, временами приподнимала веки.

Никто не заходил в эту палату, ни сестры, ни врач. Я не смела, заговорить с девушками, тем более прикоснуться к ним, а запах стоял невыносимый. Я пришла, чтобы увидеть одну, а обнаружила двух, страшно обожженных и, совершенно очевидно, лишенных малейшей помощи. Я вышла из палаты и отправилась искать медсестру. Наконец нашла одну и сказала: «Я хочу видеть главного врача госпиталя».

Я была хорошо знакома с подобными медицинскими учреждениями. Симпатичный главврач меня принял приветливо.

— У вас лежат две обожженные девушки. Вы знаете, что я работаю с гуманитарными организациями. Можем ли мы им помочь?

— Послушайте... я бы вам не советовал. Одна из них упала в огонь, а другая — это семейное дело. В самом деле, я не советую вам вмешиваться в эту историю.

— Доктор, но моя работа — это как раз помогать, и особенно тем людям, которым нет помощи ниоткуда. Можете ли вы рассказать мне немного подробнее?

— Нет, нет, нет. Будьте осторожны. Не влезайте в подобные истории.

Когда разговор идет так, не надо давить на людей. Я оставила все, как есть, но опять вернулась в комнату для умирающих и присела на минутку. Я хотела подождать, надеясь, что та, которая приоткрывала глаза, сможет со мной пообщаться. Состояние другой было более тревожным.

По коридору проходила медсестра, и я попыталась задать вопрос:

— Та девушка, у которой волосы и которая без сознания, что с ней произошло?

— А, эта? Она упала в огонь, она очень плоха, скоро умрет.

В этом диагнозе не было ни капли сострадания. Только констатация. Но меня не обманули слова «она упала в огонь».

Другая девушка слегка шевельнулась. Я подошла к ней и стала рядом, не говоря ни слова. Я смотрела и пыталась понять, я слышала шум в коридоре, надеясь, что кто-нибудь зайдет сюда, кого можно будет расспросить. Но сестры проходили мимо очень быстро, они абсолютно не занимались этими двумя девушками. Наверняка можно было сказать, что им не оказывалось никакой помощи. Может быть, что-то для них и делали, но я не заметила ничего. Никто ко мне не подходил, никто ничего не

спрашивал. А ведь я иностранка, одетая по-западному, правда, ношу полностью закрытую одежду из уважения к традициям страны, в которой работаю. Это необходимо, чтобы быть всюду принятой. По крайней мере, меня могли бы спросить, что я тут делаю, но меня просто игнорировали.

Через какое-то время я склонилась над той, которая, как мне казалось, могла меня услышать, но я не знала, как к ней прикоснуться. Под простыней мне не было видно, где у нее ожоги. Я только видела, что подбородок ее полностью приклеился к груди. Это был единый спекшийся кусок. Было видно, что уши сгорели и от них мало что осталось. Я провела рукой над ее глазами. Она не реагировала. Я не видела ни ее кистей, ни рук и не осмеливалась приподнять простыню. Я даже не знала, что мне предпринять. И, тем не менее, мне надо, чтобы она узнала о моем присутствии. Она умирала, и мне хотелось, чтобы она почувствовала мое присутствие, ощутила человеческий контакт.

Ее ноги под простыней были полусогнуты, коленями кверху, как обычно женщины сидят по-восточному, только она находилась в горизонтальном положении. Я положила руку ей на колено, и она открыла глаза. «Как тебя зовут?» Она не ответила. «Послушай, я тебе помогу. Я вернусь и помогу тебе». — «Айуа».

По-арабски «да», и все. Она снова прикрыла глаза. Я даже не знала, видела ли она меня.

Это была моя первая встреча с Суад.

Я вышла оттуда потрясенная. Я обязательно что-то сделаю, это, несомненно! Все, что я предпринимала до этого, начиналось с властного призыва. Мне рассказывали о какой-нибудь беде, и я шла туда, зная, что должна обязательно помочь. Я не знала, как именно, но я обязательно что-нибудь придумаю.

Я вернулась к своей знакомой, чтобы кое-что уточнить, если так можно выразиться, о случае с этой девушкой.

«Ребенок, которого она родила, по приказу полиции отдан в социальную службу. Ты ничего не сможешь сделать. Она молода, никто не будет тебе помогать в госпитале. Жаклин, поверь мне, ты не сможешь ничего сделать». — «Хорошо, посмотрим».

На следующий день я вернулась в госпиталь. Девушка все еще была в полубессознательном состоянии, а ее соседка по палате все так же в коме. И зловоние в их палате становилось невыносимым. Я не знала, какова была площадь ожогов, но никто их не дезинфицировал. Еще через день вторая кровать оказалась пустой. Девушка, находившаяся в коме, умерла

прошедшей ночью. Я смотрела на эту пустую, но до сих пор не вымытую кровать с чувством глубокой вины. Всегда очень печально, когда ты бессильна что-либо сделать. И я сказала себе: «А теперь надо заниматься другой». Но она была в полубессознательном состоянии, часто бредила, и я не понимала ничего из того, что она пыталась мне ответить.

И вот тут вдруг произошло то, что можно назвать чудом. Чудо явилось в образе молодого палестинского врача, которого я видела здесь впервые. Директор госпиталя сказал мне: «Оставьте, она все равно умрет». Я спросила у молодого врача его мнение по этому поводу:

— Что вы об этом думаете? Почему ей до сих пор не очистили лицо?

— Мы пытались почистить, как могли, но это нелегко. Такие случаи для нас очень трудны, из-за местных обычаев... вы понимаете...

— Но вы верите, что ее можно спасти?

— Если она до сих пор не умерла, возможно, что шанс есть. Но будьте очень осторожны с подобными историями, очень осторожны.

В последующие дни я увидела, что лицо стало немного чище, тут и там виднелись следы ртути (бактерицидное вещество). Молодой врач, должно быть, дал указания медсестре, которая кое-что сделала, но без особенного рвения. Суад рассказала мне потом, что ее взяли за волосы, чтобы ополоснуть в ванне, и что с ней так обращались, потому что никто не хотел к ней прикасаться. Я, конечно, ни в коем случае не стала вмешиваться, чтобы не осложнить свои взаимоотношения с этим госпиталем. Я пошла к молодому арабскому доктору, до которого, как мне казалось, было легче достучаться.

— Я работаю с гуманитарной организацией и могу что-то сделать для этой девушки, поэтому мне хотелось бы узнать, существует ли у нее надежда на жизнь.

— Что касается меня, то я думаю, что да. Можно было бы попытаться что-то сделать, но сомневаюсь, что это возможно в нашем госпитале.

— Тогда, может быть, попытаться перевезти ее в другой госпиталь?

— Да, но у нее семья, родители, она несовершеннолетняя, мы не можем вмешиваться. Родители знают, что она здесь. Мать уже приходила, впрочем, с тех пор посещения ей запрещены... Это совершенно особенный случай, поверьте мне.

— Послушайте, доктор. Я со своей стороны хотела бы что-то сделать. Я не знаю, что это за запреты, но если вы считаете, что существует хоть какая-то надежда выжить, даже самая ничтожная, я не могу оставить ее умирать.

Тогда доктор посмотрел на меня, слегка удивленный моей

настойчивостью. Наверняка он думал, что я не представляю никакого веса... одна из этих «гуманитариев», ничего не знающих о его стране. Я бы дала ему лет тридцать, и он казался мне весьма симпатичным: высокий, стройный, с черными волосами и хорошо говорил по-английски. Он был совсем не похож на своих собратьев, обычно игнорирующих просьбы западных иностранцев.

— Если я смогу вам помочь, то обязательно помогу.

Отлично. На следующий день он уже охотно говорил со мной о состоянии пациентки. Поскольку он учился в Англии и был достаточно образованным, наши отношения складывались легко. Я пошла немного дальше в своих расспросах об участии Суад и поняла, что на самом деле ей не оказывалось никакой помощи.

— Она несовершеннолетняя, мы не имеем абсолютно никакого права прикасаться к ней без разрешения родителей. А для них она умерла, во всяком случае, они ждут только этого.

— А если поместить ее в другой госпиталь, где с ней будут лучше обращаться и оказывать ей помощь, как вы думаете, мне позволят это сделать?

— Нет. Только родители могут разрешить это, но они вам такого разрешения не дадут!

Я отправилась поговорить со своей знакомой об этой моей затее и спросить ее мнение:

— Я хотела бы перевезти ее из этого госпиталя в другое место. Что ты об этом думаешь? Это возможно?

— Если родители хотят, чтобы она умерла, ты ничего не добьешься. Это вопрос чести для них и для всей деревни.

Но я уже влезла в эту историю. Я была намерена заниматься ею до тех пор, пока не найду даже самую маленькую лазейку для положительного решения. В любом случае я собиралась идти до конца.

— Как ты думаешь, может быть, мне съездить в эту деревню?

— Ты слишком рискуешь, отправляясь туда. Послушай меня хорошенько. Ты еще не знаешь, что такое кодекс чести, которым нельзя пренебречь. Они хотят, чтобы она умерла, — в противном случае их честь не будет восстановлена, и семью вышвырнут из деревни. Они должны будут уйти обесчещенными, ты понимаешь? Ты, конечно, можешь броситься в пасть тигра, однако, по моему мнению, ты подвергнешь себя огромному риску и, в конце концов, не добьешься ничего. Она приговорена. Она находится без лечения слишком долго, с такими ожогами эта несчастная не выживет.

Но маленькая Суад все же приоткрывала глаза, когда я приходила ее навестить. Она слушала меня и отвечала мне, превозмогая невыносимую боль.

— Я знаю, что у тебя был ребенок. Где он?

— Я не знаю. Его забрали. Я не знаю...

Я понимала, что по сравнению с тем, что ей приходилось выносить, и тем, что ее ожидало, — неминуемой смертью, мысль о ребенке не была главной в ее сознании.

— Суад, мне надо, чтобы ты дала мне ответ, потому что я хочу кое-что сделать. Если нам удастся выбраться отсюда, если я увезу тебя в другое место, ты согласишься поехать со мной?

— Да, да, да. Я поеду с тобой. Куда мы поедем?

— В другую страну, не знаю еще точно куда, но туда, где ты больше никогда не услышишь обо всем этом.

— Да, но ты знаешь, мои родители...

— Я повидаюсь с твоими родителями, я поговорю с ними. Хорошо? Ты доверяешь мне?

— Да... Спасибо.

Итак, заручившись ее согласием, я спросила у молодого врача, знает ли он, где находится та самая знаменитая деревня, где девушек жгут, как тряпки, только за то, что они влюбляются.

— Она родом из деревушки километрах в сорока отсюда. Это достаточно далеко, туда нет проезжей дороги, и это довольно опасно, потому что место слишком глухое. В этих краях даже нет полиции.

— Не знаю, могу ли я поехать туда одна...

— О-ля-ля! Вот уж чего вам не советую. Да вы десять раз потеряетесь, пока разыщете эту деревню. Подробных карт ведь тоже нет...

Я наивна, но не до такой степени. Я знаю, что самая главная проблема, когда ты спрашиваешь дорогу в подобных краях, в том, что ты иностранец. Тем более, что деревня, о которой идет речь, находится в зоне, оккупированной израильтянами. И я, Жаклин, будь я представитель «Земли людей», гуманитарий или христианка, меня могут принять за израильтянку, шпионящую за палестинцами, или, наоборот, в зависимости от того участка дороги, где я нахожусь.

— Не могли бы вы оказать мне услугу отправиться туда со мной вместе?

— Но это безумие!

— Послушайте, доктор, мы можем спасти человеческую жизнь... вы сами сказали мне, что надежда есть, если увезти ее отсюда в другое

место...

Спасти жизнь. Это для него не пустой звук, ведь он врач. Но он из той же страны, в которой живут и медсестры, а для медсестер Суад или любая другая на ее месте должна умереть...

И одна такая уже не выжила. Я не знаю, был ли у нее шанс выкарабкаться, но ее не лечили вовсе. Мне очень хотелось сказать этому симпатичному врачу: для меня невыносимо оставить умирать молодую девушку только потому, что таков обычай! Но я промолчала, потому что знала, что он сам заложник этой системы, своего госпиталя, своего директора, медсестер, да и всего населения. Он и так проявлял незаурядную смелость, разговаривая со мной обо всем этом. Преступления во имя чести — это табу.

Мне все-таки удалось наполовину убедить его. В самом деле, это был очень добрый, честный человек. Я была тронута, когда он ответил мне с некоторыми колебаниями:

— Не знаю, хватит ли у меня смелости...

— Ну, давайте попробуем. Если дело не пойдет, мы вернемся.

— Хорошо, но вы мне обещаете, что не обидитесь, если я делаю отворот поворот при малейшем осложнении.

Я пообещала. Этот человек, которого я буду называть Хассан, будет моим проводником.

Я молодая западная женщина, работающая на Ближнем Востоке в организации «Земля людей». Я спасаю детей, попавших в беду, будь то мусульмане, евреи или христиане. Это постоянная сложная дипломатия. Но в тот день, когда я села в машину рядом с этим отважным молодым доктором, я совершенно не отдавала себе отчета о возможном риске. Дороги плохие, местные жители подозрительные, а я вовлекла этого арабского врача, свежеепеченного выпускника английского университета, в авантюру, которая бы показалась необыкновенным приключением, если бы цель, ради которой мы ехали, не была такой серьезной. Он должен был бы принять меня за сумасшедшую.

В день отъезда Хассан был бледен от страха. Я лукавила, говоря, что чувствую себя прекрасно, но мне придавали уверенность бесшабашность молодости и вера в мое призвание помогать другим. Ясное дело, что ни у него, ни у меня не было никакого оружия.

Для меня защитой было «С нами Бог!», для него — «Инш Алла!».

Выехав из города, мы оказались среди классического пейзажа палестинской сельской местности, поделенной на небольшие крестьянские хозяйства. Это были участки земли, окруженные низкими каменными

стенами. По ним сновали мелкие ящерицы и змейки. Земля имела цвет красной охры, на которой выделялись берберские смоквы.

Дорога, выходящая из города, не была заасфальтирована, но ехать по ней было можно. Она связывала соседние деревни, деревушки и рынки. Израильские танки постепенно ее разровняли, но все же глубоких ям хватало, и моя маленькая машинка скрежетала и раскачивалась. Чем дальше мы углублялись в сельскую местность, тем больше встречалось маленьких хозяйств. Если участок был побольше, крестьяне возделывали на нем пшеницу, на мелких пасли скот. Несколько коз, несколько овец. У богатых крестьян скота было больше.

Обычно хозяйством занимаются дочери. Они очень редко, почти никогда не ходят в школу. Те же, кому выпадает шанс сесть за парту, очень быстро прекращают занятия, чтобы заниматься младшими детьми. Я уже поняла, что Суад была совершенно неграмотной.

Хассан знал эту дорогу, но мы отправились на поиски деревни, о которой он никогда раньше не слышал. Время от времени мы спрашивали дорогу, но, поскольку машина имела израильский номер, это было очень опасно. Мы находились на оккупированной территории, и пояснения, которые нам давали, могли быть заведомо неточными.

Через какое-то время Хассан сказал:

— И все-таки не очень-то разумно, что мы окажемся одни в этой деревушке. Я предупредил семью о нашем приезде по телефону, но одному Богу известно, как они нас встретят. Один отец? Вся семья? Или вся деревня? Они не поймут вашу затею!

— Но вы же им сказали, что девочка умрет, и что мы едем поговорить с ними об этом?

— Именно этого они и не поймут. Они ее сожгли, а тот, кто это сделал, возможно, поджидает нас за поворотом. В любом случае они скажут, что у нее загорелось платье, что она упала головой в печку! Это очень запутанное семейное дело...

Я это знала. С самого начала, вот уже дней двенадцать, мне твердят, что сожжение женщины — это сложное дело, в которое я не должна вмешиваться. Только я уже вмешалась.

— Уверю вас, нам лучше повернуть назад...

Я подогревала храбрость моего драгоценного спутника. Без него я, возможно, все же поехала бы, но в одиночку женщине не пристало ездить в этих краях.

В конце концов, мы разыскали деревню. Отец принял нас на улице, в тени огромного дерева, перед своим домом. Я села на землю, Хассан

рядом, справа от меня. Отец уселся, опираясь на ствол дерева, в обычной позе, согнув одну ногу, на которую положил свою трость. Это был маленький рыжий человек, с бледным веснушчатым лицом. Он немного напоминал альбиноса. Мать осталась стоять, прямая в своем черном платье и черной накидке на голове. Ее лицо было открыто. Это была женщина неопределенного возраста, с резкими чертами лица и жестким взглядом. Для тяжелой жизни палестинских крестьянок, полной непосильного труда, детей и рабства, это типично.

Дом был среднего размера, обычный для этого региона, правда, мы не смогли увидеть многого. Снаружи он был скрыт от посторонних глаз. Во всяком случае, хозяин не беден.

Хассан представил меня после обычного обмена приветствиями:

— Вот эта дама работает в гуманитарной организации...

И дальше беседа продолжалась в палестинском духе, между двумя мужчинами:

— Как стада?.. Каковы виды на урожай?.. Как идет торговля?..

— Погода плохая... зима начинается, да и израильтяне создают массу проблем...

Довольно долго разговаривали о погоде и дождях, прежде чем приступили к цели нашего визита. Поскольку отец не говорил о своей дочери, значит, и Хассан о ней не заговаривал, тем более я. Нам предложили чаю. Поскольку я иностранка, приехавшая в гости, я не могла отказаться от гостеприимства. И вот уже пора уезжать. Попрощались.

— Мы приедем к вам еще раз...

Не очень-то далеко мы продвинулись, однако пришлось уезжать. Потому что начинать надо так, и мы оба об этом знали. Надо войти в доверие, чтобы нас не приняли за врагов или дознавателей, дать им время, чтобы можно было приехать снова.

И вот мы уже оказались на дороге, ведущей к городу, расположенному в сорока километрах отсюда. Я помню, что вздохнула с облегчением:

— Уф! Кажется, все прошло не так уж плохо? Можем вернуться через несколько дней.

— Вы, в самом деле, хотите вернуться?

— Да, конечно, ведь пока мы ровным счетом ничего не сделали.

— Но что вы можете им предложить? Если это деньги, то они ни к чему... не рассчитывайте на них. Честь есть честь.

— Я буду упирать на тот факт, что она умирает. К сожалению, это правда, вы мне сами это говорили...

— Без срочного лечения, а срочность уже давно миновала, в самом

деле, ее шансы уже ничтожны.

— Тогда, поскольку она может там остаться, я скажу им, что увезу ее умирать в другое место... Возможно, это поможет им избавиться от проблем?

— Она несовершеннолетняя, и у нее нет документов, необходимо согласие родителей. Но они палец о палец не ударят, чтобы выправить бумаги. Вы ничего не сможете сделать...

— Но давайте все же приедем к ним еще раз. Когда вы им позвоните по арабскому телефону?

— Через несколько дней, дайте мне время...

Только у маленькой Суад совсем не оставалось времени. Но Хассан был настоящим волшебным доктором. У него была работа в госпитале, семья, и тот простой факт, что он вмешался в преступление во имя чести, мог навлечь на него серьезные неприятности. Я все больше и больше понимала это и уважала его осторожность. Преодолеть подобные запреты, попытаться их обойти — все это было внове для меня, и я погрузилась в эту затею со всей своей энергией. Но именно Хассан связывался с деревней, предупреждая о наших визитах, и я прекрасно представляла, каково ему приходилось...

Суад умрет

— Мой брат очень добрый. Он попытался принести мне бананы, а доктор велел ему больше не приходить.

— А кто с тобой это сделал?

— Это Хуссейн, муж моей старшей сестры. А мать принесла мне яд в стакане...

Я уже знала немного больше об истории Суад. Она уже говорила лучше, но условия в этом госпитале были ужасны для нее. Ее вымыли один раз, держа за остатки волос на голове. Ожоги воспалялись, сочились и кровоточили постоянно. Я разглядела верхнюю часть ее тела: голова была склонена на грудь, как при молитве, так как подбородок прикипел к груди. Она не могла шевельнуть руками. Нефть или бензин были вылиты ей сверху на голову. Огонь спускался на шею, уши, по спине, рукам и верхней части груди. Она была скрючена, как какая-то странная мумия, вероятно, еще тогда, когда ее транспортировали, и до сих пор была в том же состоянии, уже более двух недель. Не считая родов в полукомадном состоянии и ребенка, который исчез. Скорее всего, социальные службы поместили его в какой-нибудь сиротский приют, но куда именно? Мне очень хорошо известно будущее, которое ждет этих незаконнорожденных детей. Оно безнадежно.

Мой план был безумным. В первую очередь я хотела перевезти ее в Вифлеем — город, находившийся в то время под контролем израильтян, куда имели доступ, как я, так и она. Несложно перевезти ее в другой город. Я определенно знала, что там не было необходимых средств для пораженных обширными ожогами. Это был только промежуточный этап. Но в Вифлееме можно было получить хотя бы минимальное базовое лечение. И третья фаза моего плана: отъезд в Европу с согласия организации «Земля людей», которую я еще не запрашивала. Не говоря уже о ребенке, которого я тоже намеревалась разыскать между делом.

Когда молодой доктор сел в мою маленькую машину, чтобы ехать во второй раз к родителям Суад, он опять казался встревоженным. Нас приняли там же, на улице под деревом, шел тот же банальный разговор, но на этот раз я заговорила о детях, которых нигде не было видно.

— У вас много детей? Где они?

— Они в поле. У нас есть замужняя дочь, у нее два мальчика, и есть женатый сын, у него тоже два мальчика.

Значит, мальчики. Надо было поздравить главу семьи. Но и посочувствовать также.

— Я знаю, что у вас есть дочь, которая причинила вам много неприятностей.

— Йа харам! Это ужасно, что с нами произошло! Какое несчастье!

— В самом деле, это большая неприятность для вас.

— Да, очень жаль. Аллах Карим! Но Бог велик.

— Однако в деревне очень неприятно иметь такие сложные проблемы...

— Да, нам всем очень тяжело.

Мать не говорила ни слова. Все стояла, подчиняясь мужу.

— Да, так или иначе, она скоро умрет. Она очень плоха.

— Да! Аллах Карим!

А мой доктор добавил с видом профессионала:

— Да, она, в самом деле, очень плоха.

Он понял мой интерес к этому странному торгу об ожидаемой смерти девушки. Он мне помогал, живо подтверждая мимикой неизбежную смерть Суад, в то время как мы сами ожидали как раз противоположного... Он принял эстафетную палочку. Отец наконец-то поведал то, что его особенно заботило:

— Я надеюсь, что мы сможем остаться в деревне.

— О да, конечно. Ведь рано или поздно она все равно умрет.

— На все воля Божья. Эта наш рок. Мы тут ничего не поделаем.

Но он так и не сказал, что же все-таки произошло, ни слова. Тогда, в какой-то момент, я сделала ход своей пешкой на шахматной доске:

— И все же для вас будет не очень хорошо, если она умрет здесь? Когда вы проведете похороны? И где?

— Мы похороним ее здесь, в саду.

— Может быть, если я заберу ее с собой, она сможет умереть в другом месте, и у вас не возникнет этих проблем.

Родителям, судя по всему, мои слова о том, что я заберу ее с собой, чтобы она умерла где-то в другом месте, ничего не говорят. Они никогда в жизни не слышали ни о чем подобном. Хассан сразу понял это и слегка на них нажал:

— Вообще-то, конечно, это создало бы меньше проблем и для вас, и для всей деревни...

— Да, но мы все же похороним ее здесь, если на то воля Божья, и всем скажем, что похоронили ее, и все.

— Я не знаю, но все же подумайте хорошенько. Возможно, я смогу

увезти ее умирать в другое место. Я смогу это сделать, если для вас это будет лучше...

Как это ни отвратительно, но в этой патологической игре я могу делать ставку только на смерть. Возвратить Суад к жизни и говорить о лечении — это навести на них страх. Они сказали, что им надо поговорить между собой. Таким образом, они дали нам понять, что пора уезжать. Что мы и сделали после обычных приветствий и обещаний приехать еще раз. Что можно было подумать в тот момент о нашей попытке? Правильно ли мы вели переговоры? С одной стороны, Суад исчезнет, а с другой стороны, ее семья вновь обретет честь в своей деревне...

Как говорит отец, Бог велик. Надо проявить терпение.

Пока шло время, я ходила в госпиталь каждый день, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уход. Мое присутствие обязывало персонал прилагать кое-какие усилия. Например, проводить большую дезинфекцию. Но без болеутоляющих и без специальных препаратов кожа бедной Суад представляла собой огромную рану, причиняющую ей невыносимую боль, и смотреть на эти ожоги со стороны было ужасно. Часто я мечтала, как о волшебной сказке, о госпиталях моей страны — Франции, Наварры или других городов, где лечат большие ожоговые поражения кожи с такой предосторожностью и таким упорством, стараясь сделать боль переносимой...

И вот мы приехали на переговоры опять вдвоем, мой славный доктор и я. Надо было ковать железо, пока горячо, предлагать сделку с максимальной дипломатичностью и в то же время с уверенностью: «Будет не очень хорошо, если она умрет в стране. Даже в госпитале, там, для вас это плохо. Но мы можем увезти ее далеко, в другую страну. И если будет так, то с этим делом будет покончено. Вы сможете сказать всей деревне, что она умерла. Она умрет в другой стране, и вы больше никогда не услышите о ней».

Беседа достигла своего пика. Но без документов договор с ними будет недействительным. Я почти добилась своего. Я не просила ничего другого, не спрашивала, кто сделал это, кто был отец ребенка. Такие истории на переговорах ни к чему, упоминание о них только больше запачкает их честь. Что сейчас для меня самое важное — это убедить их, что их дочь умрет, но в другом месте. И пусть я покажусь им сумасшедшей, эксцентричной иностранкой, которой, в конце концов, можно воспользоваться в своих интересах.

Я чувствовала, что мысль пробивала к ним свою дорогу. Если они скажут «да», то с нашим отъездом смогут объявить всей деревне о смерти

своей дочери, не вдаваясь в детали и избежав захоронения тела в саду. Они смогут рассказать что угодно, даже то, что они отомстили за поруганную честь, как это у них принято. С точки зрения западного человека, это безумие... полное безумие — добиваться своих целей в таких условиях. Однако этот торг с моральной точки зрения их совершенно не беспокоит. Здесь мораль очень специфична. Она направлена против девушек и женщин, навязывает им закон, который представляет интересы лишь мужчин клана. Сама родная мать принимает эту мораль, не моргнув глазом, желая смерти и забвения собственной дочери. Она не может делать по-другому, и в глубине души я жалела ее. Иначе я бы чувствовала себя стесненной. Во всех местах, где мне приходилось работать: в Африке, Индии, Иордании или Палестине, — я должна была адаптироваться к их культуре и уважать обычаи предков. Единственной целью было помочь тем, кто стал их жертвой. Но впервые в жизни мне пришлось таким образом торговаться за жизнь. И они сдались.

Отец заставил меня пообещать, а за ним и мать, что они больше никогда ее не увидят. «Больше НИКОГДА?» — «Нет! Больше никогда! НИКОГДА!»

Я пообещала. Но чтобы выполнить это обещание и увезти Суад за границу, мне нужны были бумаги. «Я должна вас кое о чем попросить... Может быть, это будет не так просто сделать, но я буду с вами, я вам помогу. Нам надо вместе пойти в бюро, которое выдает документы, удостоверяющие личность, и бумаги для выезда».

Это новое препятствие сразу же их обеспокоило. Любой контакт с израильским населением, и в особенности с администрацией, был для них большой проблемой.

— Надо, чтобы вы и ваша жена поехали со мной в Иерусалим, чтобы поставить свои подписи.

— Но мы не умеем писать!

— Это не страшно, достаточно будет отпечатка пальца...

— Хорошо, мы поедem с вами.

На этот раз я должна была подготовить к этому делу администрацию, прежде чем везти родителей. К счастью, я знала людей из отдела виз в Иерусалиме. Там я смогу все объяснить, а сотрудники знали, что я делала для детей. Впрочем, я и так спасаю ребенка. Суад сказала мне, что ей семнадцать лет, то есть она была еще ребенком. Я объяснила израильским служащим, что приведу к ним родителей одной очень больной палестинской девушки, что не надо заставлять их ждать три часа, из-за риска, что они могут уйти, ничего не подписав. Они неграмотные, поэтому

им необходимо мое присутствие для соблюдения всех формальностей. Поэтому они принесут с собой выписку о рождении, если у них она имеется, а администрация просто подтвердит возраст их дочери в разрешении на выезд. И я добавила, а потом нахально повторила им еще раз, что эта девушка уедет вместе с ребенком. Хотя я пока еще не знала, где находится этот ребенок и как его разыскать.

Но сначала надо было сделать одно, потом приниматься за другое. Моей единственной задачей было поторопить родителей и обеспечить маленькой Суад хоть какое-то лечение.

Разумеется, израильский служащий спросил меня:

— А ты знаешь имя отца ребенка?

— Нет, я его не знаю.

— Значит, надо написать незаконнорожденный?

Мне очень не нравилось употребление подобных определений в официальных бумагах.

— Нет, не надо писать незаконнорожденный! Мать ребенка выезжает за границу, и ваши понятия о законности там не имеют никакого значения!

Это разрешение на выезд для Суад и ребенка не было паспортом, а только разрешением покинуть территорию Палестины с выездом в другую страну. Суад никогда не вернется на эту территорию. То есть виртуально эта маленькая сожженная девушка, вычеркнутая из карты, не будет больше существовать для своей страны. Фантом.

— Сделайте мне, пожалуйста, два разрешения на выезд — один для матери и другой для ребенка.

— А где он, этот ребенок?

— Я найду его.

Время шло, и через час израильская администрация дала мне зеленый свет. Уже на завтра я поехала за родителями, на этот раз одна, как большая. Они уселись в машину молча, с непроницаемыми лицами. И вот мы приехали в Иерусалим, в бюро виз. Для арабов это была вражеская территория, где обычно их и за людей не считают.

Я ждала, сидя рядом с ними. Мое присутствие в какой-то мере гарантировало израильтянам, что эти люди не принесли с собой бомбу. Здесь меня очень хорошо знали с тех пор, как я начала работать с палестинским и израильским населением. Вдруг служащий, оформлявший бумаги, сделал мне знак подойти к нему.

— Посмотри-ка, по справке о рождении этой девушке девятнадцать лет! А ты говорила семнадцать!

— Давай не будем сейчас это обсуждать, в конце концов, какая тебе

разница, семнадцать или девятнадцать...

— Почему ты не привела ее с собой? Она тоже должна была подписать бумаги!

— Я не привела ее, потому что она умирает в госпитале.

— А ребенок?

— Послушай, оставь его сейчас. В присутствии родителей вы мне выдаете разрешение на выезд для их дочери, они его подписывают, а для второго разрешения для ребенка я предоставлю все подробности и вернусь за ним.

Поскольку территориальная безопасность не затрагивалась, израильские чиновники были готовы сотрудничать. С моих первых шагов на поприще гуманитарной деятельности, когда мне приходилось бывать на оккупированных территориях, меня сначала задерживали. Мне надо было как-то выходить из положения. Когда они поняли, что я занимаюсь также и израильскими детьми-инвалидами, родившимися от кровосмесительных браков в некоторых поселениях, ситуация улучшилась. К сожалению, в очень религиозных семьях, где допускаются браки между двоюродными братьями и сестрами, иногда рождаются дети, страдающие болезнью Дауна или глубокие инвалиды. То же самое происходит и в религиозных арабских семьях. В то время я как раз занималась этой проблемой в обоих сообществах, что обеспечило мне некоторый климат доверия, в частности и в отношениях с администрацией.

Бюро выдачи виз находилось вне стен города, в стороне от старого Иерусалима. Наконец у меня в руках был драгоценный документ, и мы пошли пешком с родителями, все еще не проронившими ни слова, среди вооруженных до зубов израильских солдат, чтобы сесть в машину. Какими я забрала их из деревни, такими же должна и доставить назад — маленького рыжего человечка с голубыми глазами в белом головном платке с тростью и его жену, одетую во все черное, не отрывающую глаз от подола своего платья.

От Иерусалима до деревни было около часа пути. В первый раз, несмотря на мой пробивной характер, мне было страшно встретиться с ними. Сейчас я их больше не боялась. Я не осуждала их, только думала: «Бедные люди». Над всеми довлеет рок, над каждым свой собственный.

Как туда, так и обратно они ехали, не проронив ни слова, опасаясь, что израильцы причинят им какие-нибудь неприятности. Я сказала, чтобы они ничего не боялись, все пройдет хорошо. За исключением нескольких слов, я не поддерживала с ними настоящей беседы. Я не видела ни прочих членов семьи, ни интерьера дома. Глядя на них, с трудом верилось, что они, в

самом деле, хотели убить свою дочь. И, тем не менее, даже если исполнителем был их зять, это они приняли решение... Я почувствовала то же самое некоторое время спустя, когда мне довелось встретиться с другими родителями в тех же обстоятельствах. Я не могла считать их убийцами. Эти не плакали из-за дочери, но я видела их плачущими, потому что они сами являлись узниками этого отвратительного обычая: преступления во имя чести.

Они молча вышли из машины перед своим домом, по-прежнему хранившим семейные тайны и несчастья, а я поехала назад. Я больше никогда не виделась с ними.

У меня еще оставалось много дел. Прежде всего, мне надо было договориться с моим патроном.

Эдмонду Кайзеру, основателю «Земли людей», я еще не сказала о своей безумной затее. Мне сначала надо было решить все административные проблемы. Я поговорила с Эдмондом Кайзером, который никогда не слышал о подобных историях, и подытожила ситуацию:

— Итак, у меня девушка, которую едва не сожгли, и у нее есть ребенок. Я намерена увезти ее к нам, но до сих пор не знаю, где находится ребенок. Ты согласен со мной?

— Конечно, я согласен.

Вот такой он, Эдмонд Кайзер. Изумительный человек, обладающий интуицией и талантом, всегда готовый на безотлагательную помощь. Вопрос был задан, и ответ не заставил себя ждать. С ним можно было говорить так же просто. Мне не терпелось увезти маленькую Суад из этой ссыльной палаты, где она страдала, как собака, но где нам выпал шанс получить огромную поддержку в лице доктора Хассана. Одному Богу известно, добилась бы я успеха без его доброты и храбрости или нет.

Мы оба решили вывезти Суад на носилках, ночью, скрыто. Я договорилась с директором госпиталя, чтобы никто ее не видел. Не знаю, хотелось ли им, чтобы она ночью умерла, но это вполне вероятно.

Было три или четыре часа ночи, я переложила ее на каталку, и мы отправились в другой госпиталь. В то время баррикады, настроенные во время интифады, не были еще такими многочисленными. Путешествие прошло без задержек, и ранним утром мы прибыли в госпиталь, где нас уже ожидали. Главный врач был в курсе, и я попросила его, чтобы он не задавал больной вопросов о семье, деревне или родственниках.

Это больница была лучше оборудована и, главное, гораздо чище. Она

получала помощь от Мальтийского ордена. Суад поместили в палату. Я приходила навещать ее каждый день, пока мы ждали визы в Европу, и я старалась разыскать ребенка.

Она не говорила о нем. Казалось, было достаточно сознавать, что он жив. Это явное безразличие объяснялось страданием, унижением, страхом, депрессией: она физически и психологически была не способна осознать себя матерью. Надо знать, что незаконного ребенка, рожденного от матери, признанной виновной, а значит сожженной ради чести семьи, лучше изолировать от общества. Если бы я могла оставить этого ребенка жить в хороших условиях в его собственной стране, я бы на это решилась. Для ребенка, как и для матери, это был бы наиболее благополучный исход. Увы, это было невозможно.

На ребенке всю жизнь лежал бы позор матери, в сиротском приюте все бы его презирали. Я должна была вызволить его оттуда, как и Суад.

— Когда мы уедем?

Теперь она думала только об отъезде и спрашивала меня о нем каждый раз, когда я приходила.

— Как только получим визы. Мы обязательно их получим, не беспокойся.

Она жаловалась на медсестер, которые неосторожно снимали повязки, она кричала каждый раз, когда к ней приближались, она чувствовала себя обиженной, считала, что с ней плохо обращаются. Я полагаю, что условия лечения, пусть и более гигиенические, не были идеальными. Но как поступить по-другому, если визы еще не были готовы? А ведь такие документы быстро не делаются.

Чтобы разыскать малыша, потребовалось подключить все мои дружеские связи. Моя подруга, которая рассказала мне о Суад, связалась с социальной служащей. Социальная служащая оказалась еще более нерешительной. Ответ моей знакомой был сформулирован достаточно ясно: «Она мне ответила, что знает, где он находится, это мальчик, но она не может его выдать просто так, это невозможно. Она считает, что ты не права, вмешиваясь в судьбу ребенка. В самом деле, для тебя это лишняя головная боль, равно как и для матери!»

Я спросила у Суад:

— Как зовут твоего сына?

— Его зовут Маруан.

— Это ты дала ему это имя?

— Да, я. Меня об этом попросил доктор.

У нее были моменты потери памяти, а иногда память была совершенно

ясной, но я не всегда могла понять, в какой фазе она находится. Она забыла ужасные обстоятельства, при которых появился на свет ее ребенок, она вообще не помнила, что у нее родился сын, никогда не называла его имя. И вдруг на простой вопрос дала прямой ответ. Я продолжала свои расспросы в том же направлении:

— Как ты думаешь? Мне кажется, мы не можем уехать без Маруана. Я пойду за ним, мы не можем его здесь оставить...

Она вымученно смотрела на меня исподлобья, из-за своего прикипевшего к груди подбородка.

— Ты так считаешь?

— Да, я так считаю. Ты уедешь, ты будешь спасена. Но я знаю, в каких условиях предстоит жить Маруану, для него это будет ад.

Он навсегда останется сыном шармуты. Сыном потаскухи. Я этого не сказала, но она сама должна была это знать. Мне было достаточно интонации ее вопроса: «Ты так считаешь?» Она была согласна со мной.

Итак, я разыскивала ребенка. Сначала я посетила один или два сиротских приюта, пытаюсь выяснить, нет ли там двухмесячного ребенка по имени Маруан. Но пока не находила, да к тому же положение мое было не слишком хорошо для поисков. Социальной служащей не импонировали такие девушки, как Суад. Она палестинка, из хорошей семьи, что не меняло дело. Но без нее я не смогу обойтись. Тогда, уступив моей настойчивости, и желая доставить удовольствие моей знакомой, она указала мне центр, в который был помещен ребенок. В то время этот сиротский приют был хуже крысиной норы. Вызволить его оттуда было невероятно трудно. Он был пленником системы, которая его туда и определила.

Мои шаги, в конце концов, недели через две привели к некоторым результатам. Я встречалась с посредниками всех мастей. Со сторонниками заставить ребенка страдать так же, как и мать. С теми, которые были скорее за то, чтобы избавиться от проблемы и лишнего рта. Некоторые из подобных детей просто необъяснимо умирают. С теми, наконец, кто имел сердце и понимал мою озабоченность. В конце концов, я оказалась с двухмесячным ребенком на руках, у которого была крошечная, слегка грушевидная голова с небольшой шишкой на лбу — результатом его преждевременного рождения. Но вполне здоровым, что с его стороны было настоящим подвигом. Он не знал ни колыбельки, ни ласки. На нем еще были следы классической желтухи новорожденных. Я боялась, как бы с ним не возникли серьезные проблемы. Его мать горела, как факел, вместе со своим ребенком и родила его в кошмарных условиях. Он был худым, но это ничего. Он смотрел на меня круглыми глазами, не плакал и был

спокойным.

Кто я? Зорро? Я глупая, он не знает, кто такой Зорро...

Я привыкла обращаться с детьми, страдающими от недоедания. В то время в нашем учреждении их было около шестидесяти. Но я отнесла его к себе, у меня было все необходимое для такого случая. Мне уже удалось отправить нескольких детей в тяжелом состоянии в Европу, чтобы прооперировать их там. Я устроила Маруана на ночь в корзине, покормленного, запеленатого и ухоженного. Я получила визы. Теперь у меня было все. Эдмонд Кайзер ждал нас в Центре скорой медицинской помощи в Лозанне, в отделении обширных ожогов.

Завтра день большого отъезда. Мать транспортировали на носилках к самолету в аэропорту Тель-Авива. Суад вела себя как маленькая девочка. Ее страдания были безмерны, но когда я ее спрашивала: «Ну, как, ничего? Тебе не слишком больно?» — она мне просто отвечала: «Очень больно». И ничего больше.

— А если я поверну тебя немного, так будет лучше?

— Да, так лучше. Спасибо.

Всегда «спасибо». Спасибо за инвалидное кресло в аэропорту — она никогда в жизни такого не видела. Спасибо за кофе через соломинку. Спасибо за то, что поместила ее в уголке, пока регистрировали наши билеты. Поскольку на руках у меня был ребенок и мне было трудно с ним оформлять документы, я попросила ее: «Послушай, Суад, я положу малыша к тебе, ты только не двигайся...»

У нее был немного испуганный взгляд. Ее ожоги не давали возможности взять малыша на руки. Суад только придвинула руки поближе к ребенку, одеревенев от страха. Она испугалась, когда я доверила ей ребенка. Это было слишком трудно для нее.

— Сиди так. Я сейчас приду.

Мне пришлось попросить ее о помощи, потому что я не могла одновременно толкать инвалидное кресло, держать ребенка, подавать документы на каждой стойке в аэропорту, предъявлять свой паспорт, визы, разрешение на выезд и объясняться по поводу моего странного экипажа.

Это был кошмар! Пассажиры, проходившие рядом с нами, восклицали, как делают все, увидев маленького ребенка: «Ой, какой хорошенький малыш. Ах, какой он милый!» Они даже не смотрели на мать, полностью обезображенную, склонившую голову к этому ребенку. Под больничной рубашкой у нее были бинты — ее очень трудно было одеть, — одна из моих шерстяных кофт и одеяло сверху. Она не могла поднять голову, чтобы сказать спасибо пассажирам, и я знала, в какую панику повергал ее этот

малыш, которого они находили таким очаровательным.

Отойдя от нее, чтобы выполнить необходимые формальности, я подумала, что сцена отдает сюрреализмом. Вот она сидит, сожженная, с ребенком на руках. Она пережила ад и ребенок тоже, а люди проходят мимо с улыбками: «Ах, какой хорошенький малыш!»

В момент посадки возникла еще одна проблема: как поднять ее в самолет. Мне уже приходилось поднимать инвалидное кресло по трапу самолета, но здесь я была в настоящем замешательстве. У израильтян существует специальная техника. Они подогнали огромный кран, и Суад оказалась подвешенной в кабинке на стреле этого крана. Кабинка медленно поднялась и подъехала прямо к двери самолета, где ее приняли два человека.

Я забронировала три кресла впереди, чтобы можно было ее положить, и бортпроводницы поставили нам ширму, чтобы отгородиться от любопытных взглядов пассажиров. Маруана поместили в колыбельку авиакомпании. Это был прямой рейс до Лозанны.

Суад не жаловалась. Я помогала ей время от времени менять положение, но ей не удавалось расслабиться до конца. Обезболивающие таблетки не слишком-то помогали. Она была слегка растерянная, полусонная, но доверчивая. Она ждала. Я не могла покормить ее, только давала пить через соломинку. И пеленала ребенка, на которого она избегала смотреть.

Она страдала от такого наплыва сложных проблем. Она не представляла, что такое Швейцария, страна, в которую я ее везла, чтобы вылечить. Она никогда не видела самолета, не видела ни подъемного крана, ни такого количества снующих людей, заполнивших международный аэропорт. Я везла с собой маленькую неграмотную дикарку, которая открывала для себя массу вещей, возможно, ее пугающих. Я также знала, что ее страдания далеко не закончились. Понадобится еще долгое время, чтобы это выживание превратилось в сносную жизнь. Я даже не знаю, возможно, ли будет ее оперировать и пересаживать кожу. А потом настанет сложный процесс привыкания к новому образу жизни, изучение языка и так далее. Когда мы «вывозим» жертву, мы знаем, как говорит Эдмонд Кайзер, что берем ответственность за жизнь.

Голова Суад была рядом с иллюминатором. Не думаю, что она была способна в том состоянии размышлять, что ее ждет. Она надеялась, сама точно не зная на что.

«Ты видишь вот это? Это называется облака».

Она спала. Некоторые пассажиры жаловались на запах, проникавший

сквозь шторы, отделявшие их от нее. Прошло два месяца с того дня, как я первый раз пришла в ту ссыльную палату смерти. Каждый сантиметр кожи на ее груди и руках разлагался, превращаясь в обширную гнойную рану. Пассажиры могли зажимать нос и демонстрировать бортпроводнице гримасы отвращения, но мне было все равно. Я везла обожженную женщину и ее ребенка, и когда-нибудь они узнают почему. Они узнают также, что есть и другие, которые уже погибли и которым суждено умереть, и так происходит в каждой стране, где мужчины практикуют убийство ради чести. В Палестине, в Иордании, в Турции, в Иране, в Ираке, в Йемене, в Индии, в Пакистане, в том же Израиле и даже в Европе. Они узнают, что редкие выжившие жертвы вынуждены скрываться всю жизнь, чтобы убийцы не нашли их опять. Потому что им это еще удастся. Они узнают, что большинство гуманитарных ассоциаций не берут их на свое попечение, потому что эти женщины — «продукт национальной культуры». А в некоторых странах закон охраняет их убийц. Их случаи не вызывают массовых кампаний сочувствия или протеста, как, например, против голода и войн, в помощь беженцам или во время крупных эпидемий. Я могу это понять и допустить. Каждый играет свою роль в этом печальном мировом устройстве. И опыт, который я только что приобрела, говорит о том, как сложно незаметно внедриться в страну, отслеживать выживших жертв «преступлений во имя чести» и помогать им, подвергая собственную жизнь риску и опасности.

Суад была моей первой такой «спасенной», но работа не окончена. Отвести угрозу смерти — это одно. Заставить жить заново — это совсем другое.

Швейцария

Я лежала в самолете и могла смотреть на его длинное темное личико в белой шапочке. Я потеряла счет времени, мне казалось, что прошло только три недели, а Маруану было уже два месяца. Жаклин сказала мне, что мы прибыли в Женеву 20 декабря.

Я испугалась, когда она положила его ко мне. Мои руки не могли его держать, и я сама была в таком смятении, во мне перемешались стыд и страдание... Я не совсем понимала, что происходит.

Я много спала. Даже не помнила, как самолет приземлился, как меня увезли в госпиталь на машине скорой помощи. Лишь на следующий день я поняла, где нахожусь.

Из всего этого необыкновенного дня в моей памяти остались личико Маруана и облака. Я спрашивала себя, что это за странные белые силуэты за окном самолета, и Жаклин объяснила мне, что мы в небе. Я поняла, что мы летели в Швейцарию, но в ту пору это слово ровным счетом мне ничего не говорило. Я путала Швейцарию с евреями, потому что все, что находилось вне моей деревни, то есть на севере, было вражеской территорией.

У меня тогда не было ни малейшего понятия о мире, о других странах, их названиях. Я даже не знала свою собственную страну. Я росла с сознанием, что есть моя территория и остальной мир. Там враги, говорил мой отец, и они едят свинину!

Значит, я буду жить во вражеской стране, но в полном доверии, потому что «эта дама» со мной.

Люди, окружившие меня в госпитале, не знали мою историю. Жаклин и Эдмонд Кайзер ничего им не рассказали. У меня были обширные ожоги, и это было для них самое главное.

Со следующего же дня меня стали готовить к срочной операции, чтобы я смогла поднимать голову. Плоть была обнажена, я весила тридцать четыре килограмма, это были ожоги и кости, а кожи не было. Каждый раз при виде медсестры с тележкой лекарств я заранее начинала плакать. По правде сказать, мне давали успокоительные, а медсестра обращалась со мной очень нежно. Она срезала мертвую кожу очень осторожно, отделяя ее пинцетом. Она давала мне антибиотики и намазывала мазью. Это совсем не было похоже на кошмар принудительного душа или отрывания бинтов по живому, которому я подвергалась в госпитале в моей стране. И, наконец, им

удалось распрямить мне руки, чтобы я могла ими двигать. Поначалу они висели, неподвижные и деревянные, как у куклы.

Я начала вставать и гулять по коридору, разрабатывать свои руки и открывать новый мир, языком которого еще не владела. Поскольку я не умела ни читать, ни писать даже по-арабски, я пребывала в осторожной тишине, пока не выучила некоторые ключевые слова.

Я могла объясняться только с Жаклин и Одой, которые говорили по-арабски. Эдмонд Кайзер был чудесным. Я восхищалась им, как никогда в своей жизни не восхищалась мужчиной. Он был моим настоящим отцом, теперь-то я это понимаю, потому что подарил мне жизнь, прислав Жаклин.

Когда я вышла из своей палаты, чтобы навестить Маруана в детском отделении, меня очень удивило свободное поведение девушек. Меня сопровождали две медсестры. Они были накрашены, причесаны, одеты в короткие платья и разговаривали с мужчинами. Я сказала себе: «Они говорят с мужчинами, они же умрут!» Я была так шокирована, что при первой возможности сказала об этом Жаклин и Эдмонду Кайзеру:

— Посмотрите на ту девушку, она разговаривает с мужчиной! Но ведь ее убьют, — и провела рукой по шее, показывая, как ей отрежут голову.

— Да нет, они же в Швейцарии, здесь совсем не так, как у тебя в стране, ей не отрежут голову, потому что она ведет себя совершенно нормально.

— Но посмотри, ведь они видят ее ноги, это же ненормально!

— Ну что ты! Совершенно нормально. Она надела халат для работы.

— А глаза? Это ведь совершенно невозможно, красить глаза?

— Да нет, здесь все женщины красятся, они выходят из дома, они свободно могут завести себе друга. У тебя на родине все совсем по-другому. Но здесь ты не у себя, ты в Швейцарии.

Но я никак не могла осознать это. Мне кажется, я продолжила всю голову Эдмонду Кайзеру одними и теми же вопросами. В первый раз я сказала: «Ту самую девушку, что-то я ее больше не вижу. Это потому что она умрет».

Но на следующий день увидела, что она опять здесь, и была очень рада за нее. Я сказала сама себе: слава Богу, она жива. Она одета в тот же белый халатик, все опять видят ее ноги, значит, из-за этого действительно не убивают. Мне-то казалось, что везде порядки такие же, как в моей стране. Для девушки разговор с мужчиной, если кто заметит ее, — это верная смерть.

Еще я была шокирована походкой этих девушек. Они были улыбочивые, раскованные, они ходили, как мужчины... и я видела много блондинок.

— Почему они светлые? Почему не такие чернявые, как я? Потому что здесь меньше солнца? А когда наступит лето, они почернеют, и у них будут виться волосы? Ой, она носит короткие рукава. Смотри, смотри туда, две женщины смеются! У нас никогда женщина не смеется с другой и не носит коротких рукавов. И у них есть туфли!

— Ой, ты еще не все видела!

Я запомнила, как впервые я смогла выйти в город в сопровождении Эдмонда Кайзера. Жаклин была опять в командировке. Я видела женщин, сидящих в ресторане и курящих сигареты, с обнаженными руками и прекрасной белой кожей. Я во все глаза глядела на белокожих блондинок, они меня просто восхищали. Я спрашивала себя, откуда они взялись. В нашей стране блондинки очень редки, и потому мужчины их особенно ценят. Я думала, что они, должно быть, находятся в постоянной опасности. Эдмонд Кайзер дал мне первый урок географии:

— Они родились белыми, а в других странах рождаются люди другого цвета. Но здесь, в Европе, есть также и черные, и белые, и рыжие с пятнышками на лицах.

— С пятнами, как у меня?

— Нет, не с ожогами, как у тебя. Это маленькие пятнышки, которые выступают на белой коже из-за солнца!

Я все время искала такую женщину, как я, и сказала Эдмонду Кайзеру: «Пусть Бог меня простит, но мне бы очень хотелось встретить другую сожженную женщину, но я таких никогда не видела. Почему я единственная сожженная женщина?»

Даже сейчас мне кажется, что я единственная сожженная женщина на земле. Если бы я была жертвой несчастного случая, это другое дело. Это судьба, а на судьбу нельзя обижаться.

По ночам меня мучили кошмары, в них возникало лицо мужа моей сестры. Я чувствовала, как он обходит вокруг меня, и слышала его голос, который снова говорил мне: «Сейчас я займусь тобой...»

И я бежала, а на мне полыхало пламя. Я думала об этом и днем тоже, и тогда вдруг возникало желание умереть, чтобы прекратились мои мучения.

Всю свою жизнь я буду ощущать себя сожженной, не такой как все. Всю жизнь я должна буду скрывать свое тело, носить длинные рукава, хотя и мечтала о коротких, как у других женщин, я должна буду носить рубашки с закрытым воротом, тогда как мечтала о декольте, как у других женщин. У них есть эта свобода. Я же нахожусь в своей коже, как в тюрьме, даже если свободно иду по свободному городу.

И тогда, потому что мне этого очень хотелось, я спросила, смогу ли

иметь когда-нибудь золотой зуб, чтобы он блестел. А Эдмонд Кайзер с улыбкой мне ответил: «Сначала тебе надо вылечиться, а уж потом будем говорить о твоих зубах».

У нас золотой зуб считается чем-то необыкновенным. Все, что блестит, — великолепно. Но, должно быть, я удивила его этой чудной просьбой. Своего у меня ничего не было, я постоянно лежала, лишь время от времени между процедурами меня выводили на прогулку. Мне нельзя было принимать душ неделями. Не стоял вопрос и том, как мне одеваться, пока не зарубцуются раны. Я была вся в повязках, и сверху на мне была рубашка. Я не могла читать, потому что не умела. Я не могла разговаривать, потому что медсестры меня не понимали. Жаклин оставила им карточки с произношением по-арабски и по-французски. Есть, спать, туалет, больно, не больно — это все слова, которые могли пригодиться им в процессе лечения. Когда я смогла вставать, я часто стояла у окна. Я смотрела на город, на огни и на горы вдали. Это было великолепно. Я восхищалась этим видом, открыв рот. Мне хотелось выйти отсюда и отправиться гулять, я никогда ничего подобного не видела, всё было таким красивым.

Каждое утро я ходила навестить Маруана. Мне надо было выйти из здания, чтобы пройти в родильное отделение. Мне было холодно, на мне была лишь больничная сорочка, застегнутая на спине, больничный халат и больничные тапочки. Вместе с больничной зубной щеткой это были единственные мои вещи. Я шла быстро, как я ходила раньше дома, опустив голову. Медсестра просила меня ходить медленнее, но я не хотела. Я была жива, и мне хотелось похвалиться этим, когда я выходила, даже если мне все еще было страшно. Впрочем, медсестры и врачи ничего не имели против. У меня было впечатление, что я единственная сожженная во всем мире. Я не могла избавиться от унижения, от чувства вины. Иногда, лежа в своей постели, я думала, что мне следовало умереть, потому что я заслуживала этого. Я вспоминала, что, когда Жаклин везла меня из госпиталя до самолета, вылетавшего в Лозанну, ощущала себя мешком с отбросами. Она должна была бросить меня в углу и оставить гнить. Эти мысли, этот позор возвращались ко мне постоянно.

Но постепенно я начала забывать мою прежнюю жизнь, мне хотелось стать кем-то другим именно в этой стране. Быть похожей на свободных женщин, научиться жить там как можно быстрее. Многие годы потом я старалась похоронить свои воспоминания. Моя деревня, моя семья не должны были больше дозветь надо мной. Но был Маруан, и медсестры учили меня кормить его из бутылочки, менять ему подгузники, быть матерью несколько минут в день, по мере моих физических возможностей.

И пусть мой сын простит меня, но мне было больно делать все то, о чем меня просили. Подсознательно я чувствовала вину за то, что являюсь его матерью. Кто сможет его понять? Я была неспособна взять на себя заботу о нем, вообразить его будущее со мной и моими ожогами. Как объяснить ему, что его отец был подлецом? Как сделать, чтобы он сам не чувствовал себя виноватым в том, что я стала такой. Увечное тело, на которое страшно смотреть. Я сама уже не могла представить, какой я была «до этого». Была ли я красивой? Была ли моя кожа гладкой? Мои руки гибкими, а грудь соблазнительной? Были зеркала, были взгляды других людей. В них я видела себя уродливой и презираемой. Мешок с отбросами. Я все еще страдала. В госпитале занимались моим телом, ко мне возвращались физические силы, но в голове у меня все оставалось по-прежнему. Я не могла это выразить, само слово «депрессия» было мне совершенно неизвестно. Я познакомилась с ним много лет спустя. Я думала только о том, что не должна жаловаться, и поэтому похоронила двадцать лет своей жизни так глубоко, что мне до сих пор больно вызывать из памяти эти воспоминания. Я думаю, что мой мозг, чтобы выжить, не мог работать иначе.

В течение долгих месяцев продолжались пересадки кожи. В общей сложности двадцать четыре операции. Кожу для пересадки брали с моих необгоревших ног. После каждого вмешательства надо было ждать, пока раны зарубцуются, и начинать снова. До тех пор, пока у меня не осталось кожи, пригодной для пересадки. Пересаженная кожа была еще очень слабой, требовалось прилагать огромные усилия, чтобы она приобрела упругость. И до сих пор эти усилия не прекращаются.

Эдмонд Кайзер решил меня приодеть. Он повел меня в большой магазин. В нем было столько обуви и одежды, что я не знала, куда смотреть. Что касается обуви, то мне не хотелось надевать расшитые шлепанцы, как носят у нас. Я также хотела носить настоящие брюки, а не шаровары. Я уже видела девушек в брюках, когда мы с отцом ездили на грузовичке в город, привозя на рынок овощи и фрукты. Они носили модные брюки, очень широкие внизу, такие брюки назывались «чарльстон». Это были плохие девушки, и я не имела права носить там такие брюки.

Но у меня не оказалось «чарльстона». Он купил мне пару черных туфель на небольшом каблучке, обычные джинсы и очень красивый свитер. Я была разочарована. Я ждала эту новую одежду долгие девять месяцев, я мечтала о ней. Но я улыбнулась и поблагодарила. Я привыкла без конца улыбаться людям, что их сильно удивляло, и за все благодарить. Улыбка была моим ответом на их вежливость и доброту, моим единственным

способом общения в течение долгого времени. А чтобы поплакать, я пряталась... Старая привычка. Улыбка — это символ другой жизни. Здесь люди были улыбочивые, даже мужчины. Мне хотелось улыбаться как можно больше. Поблагодарить — это такая малость. Раньше мне никто не говорил «спасибо», ни отец, ни брат, никто вообще, хотя я работала, как каторжная. Я привыкла к побоям, а не к благодарности.

Мне казалось, что сказать «спасибо» — это был знак глубокой вежливости, большого уважения. Мне приятно было говорить «спасибо», потому что и мне его тоже говорили. Спасибо за перевязку, спасибо за снотворную таблетку, за крем, чтобы не порвать кожу, за обед и особенно за шоколад. Я поела шоколад целыми плитками... Он был такой вкусный, такой восхитительный.

Так вот, я сказала «спасибо» Эдмонду Кайзеру за джинсы, туфли и симпатичный свитер.

— Здесь ты свободная женщина, Суад, ты можешь делать все, что захочешь, но я советую тебе одеваться просто, носить одежду, которая тебе подходит, не раздражает кожу и в которой ты не бросаешься в глаза.

И он был прав. В этой стране, которая приняла меня с такой добротой, я была все еще маленькой пастушкой из Палестины, совершенно дикой, без образования и без семьи, которая к тому же мечтала о золотом зубе!

Я провела в госпитале почти год, и потом меня поместили в центр по приему переселенцев.

Но пересадки кожи продолжались. Я периодически возвращалась в госпиталь, чтобы там страдать. В голове у меня по-прежнему была мешанина, но я старалась выжить. Я не могла желать лучшего. По мере своих возможностей я учила французский — выражения, куски фраз я повторяла как попугай, даже не зная точно, что за птица этот попугай!

Жаклин объяснила мне позднее, что, когда она привезла меня в Европу, мои повторяющиеся госпитализации не позволяли регулярно изучать французский. В тот момент важнейшей задачей было спасение моей кожи, а не учеба в школе. Впрочем, у нас в деревне были две девочки, которые на автобусе ездили в город в школу, так над ними смеялись. Я тоже смеялась над ними, убежденная, как и мои сестры, что они никогда не найдут мужа, посещая школу!

Сказать по секрету, больше всего я стыдилась того, что у меня нет мужа. Я по-прежнему была во власти нравов моей деревни, это было сильнее меня. И я признавалась себе, что никто не захочет взять меня замуж. Ведь в моей стране женщина, живущая без мужчины, — это наказание на всю жизнь.

В доме, где нас приняли вместе с Маруаном, все думали, что я привыкну к этому двойному наказанию — своему уродству и неспособности возбудить мужчину. Они надеялись, что я смогу заниматься своим сыном, когда начну работать, чтобы его содержать. И только одна Жаклин понимала, что я совершенно не способна к этому. Прежде всего, мне понадобятся годы, чтобы вновь ощутить себя человеком и принять себя такой, какая я есть. А ребенок будет расти кое-как, потому что, несмотря на мои двадцать лет, я сама все еще оставалась ребенком. Я понятия не имела об ответственности, о независимости.

И вот тогда я покинула Швейцарию. Мое лечение было окончено, я могла жить где угодно. Жаклин нашла мне приемную семью где-то в Европе. Мои приемные родители, которых я так любила, что звала их «мама» и «папа», как и Маруан, принимали многих детей, направляемых организацией «Земля людей». Некоторые оставались надолго, некоторых забирали в другие семьи. Но наша семья была всегда многочисленной. Надо было заниматься малышами, и я помогала, как могла. Однажды мама сказала мне, что я слишком много внимания уделяю Маруану в ущерб другим детям. Я удивилась, мне самой не казалось, что я посвящаю себя сыну. Я была слишком потерянной для этого. В минуты одиночества я любила гулять вдоль реки, везя Маруана в коляске. У меня была потребность ходить, быть вне дома. Возможно, сказывалась прежняя привычка пасти скот. Как раньше, я брала с собой что-нибудь поесть и немного воды, катила коляску, шла быстро, прямо и гордо. Я словно раздваивалась: шла быстро, как когда-то у себя дома, и в то же время прямо и гордо, как в Европе.

Я делала все возможное, чтобы выполнять поручения мамы, то есть больше заниматься уходом за детьми. Я была самой старшей, так что это было нормально. Но, будучи запертой в этом доме, я умирала от желания спастись, выйти куда-то к людям, говорить, танцевать, встретить мужчину, чтобы проверить, могу ли я еще быть женщиной.

Мне это было необходимо. Надеяться на что-то было истинным сумасшествием, но это было сильнее меня. Я хотела попробовать жить.

Маруан

Маруану было пять лет, когда я подписала бумаги, позволяющие нашей приемной семье его усыновить. Я добилась некоторого прогресса в изучении языка — хотя по-прежнему не умела ни читать, ни писать, но знала, что делала. Я не бросала сына. Мои новые родители собирались воспитывать мальчика наилучшим образом. Став их сыном, он получит настоящее образование, будет носить имя, которое защитит его от моего прошлого. Я же была совершенно не способна обеспечить ему душевное равновесие, уход, нормальное обучение. Но даже спустя многие годы я чувствую вину за то, что сделала этот выбор. Правда, это время как-то скорректировало мою жизнь, в которую, правда, я больше не верю, больше полагаясь на инстинкт. Я не умею хорошо объяснить эти вещи, не обливаясь слезами. В течение всех этих лет мне хотелось убедить себя, что я не страдаю от разлуки. Но невозможно забыть своего ребенка, тем более такого ребенка.

Я знала, что он счастлив, а он знал о моем существовании. В пять лет он не мог не знать, что у него есть настоящая мать, потому что мы жили вместе у его приемных родителей. Не знаю, как ему объяснили мой отъезд, но семья принимала многих детей, приезжавших со всего мира, и я помню, что порой нас, было восемнадцать, когда мы собирались за столом. Большинство это были брошенные дети. Мы все называли приемных родителей мамой и папой. Эти замечательные люди получали от организации «Земля людей» необходимые средства для временного приюта детей, и каждый их отъезд был связан с болезненными переживаниями. Я видела, как они бросались в объятия мамы и папы, они не хотели уезжать. Но этот дом был для них лишь временным пристанищем — большинство детей оставалось у наших приемных родителей на период срочной операции, которую невозможно было сделать у них на родине, а потом они туда возвращались. У этих детей была настоящая родина, у них были настоящие семьи, разбросанные по всему миру. Такие, как Маруан и я, которым некуда было возвращаться, усыновлялись семьями. В Палестине меня считали умершей, и Маруан там тоже не существовал. Он заново родился здесь, как и я, 20 декабря. Его родители были также и моими. Такая ситуация была довольно странной, и когда спустя почти четыре года совместной жизни я покидала семейный очаг, я расценивала себя скорее как старшую сестру Маруана. Мне было двадцать четыре года. Я не могла

больше находиться на их иждивении. Мне надо было устраиваться на работу, привыкать к независимости, становиться взрослой.

Если бы я не решила оставить его там, я не смогла бы воспитывать его одна. Я была депрессивной матерью и давила бы на него грузом моих страданий, ненавистью моей палестинской семьи. Мне пришлось бы рассказать ему то, о чем так хотелось забыть! А я не могла — это было выше моих сил. У меня не было денег, я была больна, я была беженкой, вынужденной жить под вымышленным именем всю оставшуюся жизнь, потому что родилась в деревне, где мужчины подлые и жестокие. И мне надо было всему учиться. Единственное, что мне оставалось, — погрузиться в эту новую страну и ее обычаи, чтобы попытаться выжить. Маруан же не должен был участвовать в моей личной борьбе за выживание. Я говорила себе: «Теперь я здесь, мне надо вращаться в эту страну, у меня нет выбора». Я сама хотела построить в этой стране заново свою жизнь. Мой сын говорил на этом языке, у него были родители-европейцы, документы, нормальное будущее, все то, чего у меня не было никогда, ни раньше, ни теперь.

Я выбрала выживание для себя и дала возможность ему жить, как он сможет. Я знала, что в этой семье ему будет хорошо. Кстати, когда со мной заговорили об усыновлении, и встал вопрос о выборе родителей из других потенциальных родителей, я отказалась: «Нет, никакой другой семьи! Маруан останется здесь или нигде. Я знаю, как он будет воспитан здесь, и не хочу, чтобы его отдавали в другую семью».

Папа дал мне честное слово. Мне было двадцать четыре года, но мое умственное развитие едва дотягивало до пятнадцати. Я так и осталась на уровне детства, пережив столько горя. Мой сын был частью той жизни, которую мне следовало забыть, чтобы начать строить новую. В тот момент я не могла объяснить так ясно, как сейчас. Я продвигалась вперед день за днем, как в тумане, полагаясь на инстинкт. Но в одном была твердо уверена: мой сын имел право на безмятежную жизнь, у него должны быть нормальные родители. Я же не была нормальной матерью. Я ненавидела себя. Я рыдала над своими ожогами, над этой ужасной кожей, с которой приговорена жить.

Поначалу, в госпитале, я верила, что все эти чудесные люди вернут мне мою кожу, и я стану такой, как прежде. Когда же я осознала, что они могут мне дать лишь жизнь в этой кошмарной оболочке, я замкнулась в себе. Я была ничем, я была уродиной, я должна была скрывать себя, чтобы не смущать других.

По прошествии лет, вновь обретая понемногу вкус к жизни, я хотела

забыть Маруана, будучи уверенной, что ему повезло больше, чем мне. Он ходил в школу, у него были родители, братья, сестра, он просто обязан быть счастливым. Но он был здесь, в укромном уголке моей памяти.

Я закрывала глаза — он был здесь. Я бежала по улице — он был передо мной или рядом, как будто я убегала, а он догонял. Я всегда помнила ту картину, когда медсестра положила его мне на колени, и я не могла его взять на руки, потому что... бежала по саду, объятая пламенем, а мой ребенок горел вместе со мной. Ребенок, отец которого не захотел его, прекрасно зная, что приговаривает нас обоих к смерти. Не говоря о том, что я так любила этого человека и так надеялась на него!

Мне было очень страшно, что я не найду другого мужчину. Из-за моих шрамов, моего лица, моего тела, из-за меня самой, какой я себя ощущала. Эта мысль точила меня, было страшно, что я не могу нравиться, страшно видеть, как от меня отводят глаза.

Я начала работать на ферме, а потом благодаря папе поступила на завод, производящий элементы точного оборудования. Работа была чистой, и я неплохо зарабатывала. Я проверяла печатные платы, части механизмов. На этом заводе был другой интересный отдел, но там требовались навыки работы на компьютере, а я к этому была неспособна. Я отказалась от обучения, мотивируя свой отказ тем, что предпочитаю сидению у компьютера работать стоя на конвейере. Однажды меня вызвала начальница бригады:

— Суад! Подойдите ко мне, пожалуйста.

— Да, мадам.

— Садитесь здесь, рядом со мной, берите мышь, я покажу вам, как работать!

— Но я никогда этим не занималась, я не сумею. Мне больше нравится работать на конвейере...

— А если в один прекрасный день на конвейере больше не будет работы? Что тогда делать? Ничего? Для Суад больше не будет работы?

Я не посмела сказать ей «нет». Даже если мне и было страшно. Каждый раз, когда надо было учиться чему-то новому, у меня увлажнились руки и появлялась дрожь в коленях. Я паниковала, но сжимала зубы. Каждый день, каждый час моей жизни я должна была учиться, не имея никакого багажа, не умея читать и писать, как другие. Неграмотная, не выучившая ни слова. Но мне так хотелось работать, что если бы эта женщина велела мне опустить голову в ведро с водой и не дышать, я бы и это сделала.

Итак, я научилась обращаться с мышью и понимать, что происходит на мониторе. Через несколько дней дело пошло. Они все были очень рады за меня. За три года я не потеряла ни минутки, мое место выглядело безупречно — я его всегда убирала, прежде чем уйти, — и я всегда приходила вовремя, раньше, чем другие. Еще в детстве меня палкой приучили к напряженной работе и повиновению, к точности и чистоте. Это была моя вторая натура, единственное наследие прежней жизни. Я говорила себе: «Никогда не знаешь, а вдруг завтра придет кто-то другой, я не хочу, чтобы он увидел неубранное и грязное рабочее место...»

Я даже превратилась в ревнителя порядка и чистоты. Каждую вещь я должна была вернуть на то же место, душ я принимала каждый день, зубы чистила три раза в день, волосы мыла два раза в неделю, ногти чистила, нижнее белье меняла ежедневно... Я стремилась к чистоте повсюду, для меня это было очень важно, хотя я вряд ли могла объяснить зачем.

Мне очень нравилось выбирать себе одежду, но здесь-то я точно знаю почему: потому что мне всегда было запрещено выбирать. Я любила красное потому, к примеру, что моя мать говорила мне: «Вот тебе платье, будешь его носить». Оно было страшное, серое, но я вынуждена была его надевать. Поэтому я любила и красный, и зеленый, и голубой, и желтый, и черный, и коричневый — все цвета, которые были мне запрещены. Что же касается фасона одежды, то у меня не было выбора. Высокий воротник или вырез по шее, закрытая блузка, брюки. И волосы, прикрывающие уши. Я ничего не могла выставить напоказ.

Иногда я садилась на открытой террасе кафе, завернутая в свою одежду и летом и зимой, и смотрела на прохожих. Женщины в мини-юбках и декольте, открытые взорам мужчин. Среди этих взоров я пыталась выследить те, которые могли бы остановиться и на мне, но я их не встречала и возвращалась домой. До того самого дня, когда я заметила из окна своей комнаты машину, а в ней мужчину, правда, я видела только его руки и колени.

И я влюбилась. Это был единственный мужчина на всей земле. Я видела только его, из-за этой машины, из-за этих двух рук, лежащих на руле.

Я влюбилась в него не потому, что он был красивым, вежливым, нежным, потому что он не бил меня или потому, что с ним я была в безопасности. Я влюбилась в него, потому что он водил машину. Одно то, как он ставит свою машину перед домом, заставляло биться мое сердце. Просто видеть, как он садится в машину, когда едет на работу, или выходит из нее, когда возвращается... Каждое утро я боялась, что вечером он не

приедет.

Я не отдавала себе отчета, что повторяется история моей первой любви. Мужчина, уезжающий и возвращающийся под моим окном, которого я полюбила прежде, чем сказала ему об этом, которого я со страхом поджидала, потому что боялась, вдруг он не вернется. В то время я не могла предвидеть ход событий. Иногда я пыталась заставить работать мою память, чтобы узнать, почему моя жизнь сложилась именно так, но быстро бросала эту затею, это было слишком сложно для меня.

У Антонио была красная машина. Я оставалась у окна до тех пор, пока его машина не скрывалась из виду... Тогда я закрывала окно.

Я встречала его, я с ним говорила, я знала, что у него была подружка, которую я тоже знала, но я ждала. Сначала мы стали друзьями. И прошло, по меньшей мере, два с половиной или три года, пока эта дружба не переросла во что-то другое. Я была влюблена, а он... я не знала, что он думает обо мне. Я не смела его спросить, но делала все возможное, чтобы он полюбил меня, чтобы удержать его. Я хотела все ему отдать, служить ему, лелеять, кормить его, делать все, чтобы он не бросил меня.

Это единственное, что я могла. Другого мне было не дано. Как я еще могла его обворожить? Моими прекрасными глазами? Красивыми ногами? Обольстительной грудью?

Сначала мы просто жили вместе, не будучи женаты, и мне понадобилось много времени, чтобы почувствовать себя более раскованно. Я раздевалась только в темноте. По утрам я спешила закрыться в ванной и появлялась оттуда, закутавшись в халат с головы до пят. И так продолжалось достаточно долго. Даже сейчас меня это беспокоит. Я ведь знаю, что мои шрамы не слишком-то привлекательны.

Поначалу мы начали свое совместное житье в крошечной квартирке-студии в городе. Мы оба работали. Он получал прилично, я тоже. Я все ждала, когда он попросит меня выйти за него замуж, но он об этом и не заикался. А я мечтала об обручальном кольце, о свадебной церемонии, я хотела служить Антонио так же, как моя мать служила отцу, как все женщины моей деревни служили своим мужьям. Я бы вставала в пять часов утра специально, чтобы вымыть ему ноги и волосы. Чтобы протянуть ему чистую и тщательно отглаженную одежду. Чтобы посмотреть, как он уезжает на работу, и махнуть ему рукой в окно, послать воздушный поцелуй...

И я ждала бы его по вечерам, приготовив ужин, до полуночи, до часу ночи, если надо, чтобы поужинать вместе с ним. Даже если бы я была голодна, я бы ждала его, ведь я видела, что наши женщины делали именно

так. С той только разницей, что я сама его выбрала, этого мужчину, никто мне его не навязывал, и я его любила. Наверное, ему бы это показалось странным. Западный мужчина к такому не привык. Поначалу он мне говорил: «Замечательно! Большое тебе спасибо, я экономлю время, теперь мне не надо об этом беспокоиться».

Он был счастлив. Возвратившись вечером домой, он сел в кресло, а я снимала ему ботинки и носки. И надевала тапочки. Чтобы удержать его дома, я готова была служить ему полностью.

Каждый день я боялась, что он встретит другую женщину. И когда он возвращался вечером, ел приготовленный мною ужин, меня отпускало напряжение, и я была счастлива до следующего дня.

Но Антонио не хотел жениться и иметь детей. Я же очень хотела. Он не был готов. Я уважала его принципы, потому что любила его таким. В ожидании я прожила, таким образом, семь лет. Антонио знал, что у меня был ребенок и его усыновили. Я вынуждена была рассказать ему о моей прошлой жизни, объяснить происхождение шрамов от ожогов, но больше мы на эту тему не разговаривали. Антонио считал, что я приняла правильное решение для Маруана. Теперь он принадлежал другой семье, и я снова не могла повлиять на его жизнь. Мне регулярно сообщали о нем, но я боялась его навещать.

За все эти годы я ездила к нему три раза. Через силу. В конце концов, я привыкла к этой вине. Я так заставляла себя позабыть об этом, что это почти удалось.

Но все же мне хотелось иметь еще хотя бы одного ребенка. Но, только выйдя замуж, это было неременным условием. Мне надо было перестроить свою жизнь в правильном порядке: муж, семья.

Ко дню этого долгожданного замужества мне было почти тридцать лет. Антонио созрел, его ситуация улучшилась, мы смогли переехать из студии в квартиру. И он тоже захотел ребенка. Это была моя первая свадьба, мое первое платье, мои первые красивые туфли.

Длинная кожаная юбка, кожаная блузка, кожаный пиджак, туфли на каблуках. Все было из белой кожи. Кожа была очень мягкой, и костюм стоил дорого. Мне нравилось ощущать его на своем теле. В магазинах я не могла равнодушно проходить мимо кожаных вещей, чтобы не погладить их, не пощупать, не проверить их мягкость. Теперь я знаю почему. Я как будто меняла кожу. Это было некое средство защиты, способ представить другим красивую кожу, не мою. Это как улыбнуться — подарить счастье другому, но не насильно.

Эта свадьба была радостью моей жизни. Единственной радостью,

которую я могла припомнить до этого, было мое первое свидание с отцом Маруана. Но я о нем больше не думала. Когда я забеременела, я была на седьмом небе от счастья.

Летиция была, в самом деле, желанным ребенком. Я говорила с ней все время, пока она была у меня в животе, я с гордостью всем его показывала, я носила обтягивающие, облегающие вещи. Я хотела, чтобы все знали, что я жду ребенка, чтобы все видели мои кольца — подаренные на помолвку и обручальное. Я совсем по-другому относилась к беременности, чем в первый раз. Тогда я должна была прятаться, лгать, умолять, чтобы на мне женились, чтобы ребенок не родился, чтобы не обесчестить мою семью. А сейчас я живая, я шагала по улице, шла по тротуару со своим новым животом, своим новым ребенком. Я думала, что своим счастьем я стерла все старое. Я так думала, потому что мне этого хотелось изо всех сил.

Но в закутке моей памяти спрятался Маруан, совсем маленький. Может быть, когда-нибудь я найду силы встретиться с ним и все ему рассказать, но пока я еще не перестала рожать его снова и снова.

Летиция появилась как цветок. Только я успела сказать врачу:

— Кажется, мне надо в туалет...

— Да нет, это появляется ваш ребенок...

Крошечный цветок, черноволосый и смуглый. Она выскользнула из моего живота с замечательной легкостью. Вокруг говорили: «Для первого ребенка это просто великолепно. Редко, когда роды проходят так легко...»

Я кормила ее грудью до семи с половиной месяцев, и она была очень легким ребенком. Она ела все подряд, она хорошо спала, у нее не было никаких проблем со здоровьем.

Спустя два года мне захотелось второго ребенка. Мальчика или девочку — нам было все равно. Но я так хотела этого ребенка, он никак не появлялся, и доктор посоветовал нам обоим, Антонио и мне, уехать в отпуск и ни о чем не думать. Каждый месяц я с надеждой прислушивалась к себе и в случае неудачи заливалась слезами. До тех пор, пока наконец-то другая девочка не замаячила на горизонте. Мы оба обезумели от счастья, когда родилась Надя.

Летиция была еще совсем маленькая, когда спросила меня, глядя по руке:

— Это что, мамочка? Бо-бо? Что это такое?

— Да, у мамы бо-бо, но я объясню тебе позднее, когда ты подрастешь.

Больше мы об этом не говорили. Постепенно я открывала перед ней руки. Я не хотела ее шокировать, не хотела вызвать у нее отвращение,

поэтому делала шаг за шагом.

— Ей было лет пять, когда она дотронулась до моей руки:

— От чего это, мама?

— Мама была обожжена.

— А кто тебя обжег?

— Один человек.

— Он очень злой!

— Да, очень злой.

— А папа может с ним сделать то, что он сделал с тобой?

— Нет, твой папа не может сделать того же, что сделали с твоей мамой, потому что это было очень далеко, в той стране, где я родилась, и это произошло очень давно. Мама расскажет тебе обо всем, когда ты станешь большая.

— А чем он тебя так обжег?

— Ты знаешь, в той стране не было стиральных машин, как здесь. И вот мама стала нагревать воду, развела огонь...

— Как ты развела огонь?

— Ну, ты помнишь, как мы с папой ходили в лес за дровами, чтобы развести огонь и жарить сосиски? Вот и мама делала то же самое: там было специальное место, чтобы нагревать воду. Мама стирала, а один человек пришел и взял очень опасную жидкость, от которой горит все, можно даже сжечь полностью целый дом. Так вот, он взял и вылил эту жидкость маме на голову и поджег зажигалкой. Вот как мама была обожжена.

— Какой он злой! Я его ненавижу! Я его убью!

— Ты не можешь убить его, Летиция. Может быть, Господь Бог уже покарал его. Потому что меня-то он вот как покарал. Но сейчас я очень счастливая, потому что у меня есть вы с папой. И я очень тебя люблю.

— Мамочка, почему он это сделал?

— Очень долго тебе объяснять... ты еще слишком мала.

— Нет, я хочу!

— Нет, Летиция. Мама сказала, что объяснит тебе потом все по порядку. Потому что это очень серьезные вещи, очень сложно их объяснять, а ты сейчас просто не сможешь всего понять. Того, что мама тебе сказала, пока вполне достаточно.

В тот же день, после ужина, я сидела в кресле, а она стояла рядом со мной. Она гладила мои волосы и начала приподнимать мне свитер. Я догадывалась, чего она хочет, и мне стало больно.

— Что ты делаешь, Летиция?

— Я хочу посмотреть твою спину.

Я разрешила.

— Ах, мамочка, у тебя кожа такая грубая! Посмотри, какая у меня кожа нежная!

— Да, у тебя кожа очень нежная, потому что это твоя настоящая кожа. А у мамы кожа грубая, потому что на ней очень большой шрам. Вот почему ты должна очень осторожно обращаться со спичками. Они нужны папе, и только он может брать их, чтобы зажигать сигареты. Если ты будешь брать спички, то можешь обжечься, как мама. Ты мне обещаешь не брать их? От огня можно умереть.

— Ты боишься огня? Да, мамочка?

Я не могла скрыть этого своего страха, он возникал по малейшему поводу. И спички я особенно ненавидела. А они всегда попадались под руку.

Летицию начали мучить кошмары, я слышала, как она беспокоилась во сне, кричала: «Ай! Ай!» Я видела, как она изо всех сил вцеплялась в одеяло. Один раз она упала с кровати. Я надеялась, что со временем у нее это пройдет, но однажды она мне сказала:

— Ты знаешь, мамочка, ночью я прихожу посмотреть, как ты спишь.

— А зачем ты это делаешь?

— Чтобы ты не умерла.

Я отвела ее к врачу. Я очень беспокоилась за нее и считала себя виноватой в том, что слишком много ей рассказала. Но врач сказал, что я правильно сделала, рассказав ей правду, но впредь надо быть очень внимательной.

Потом настала очередь Нади. Она задавала те же вопросы, что и Летиция, но на ответы реагировала совсем по-другому. С ней не случалось кошмаров, она не переживала так за меня, но ей было как-то не по себе. Я видела, что она носит все внутри себя. Как-то мы сидели вместе, и она тяжело вздыхала.

— Что ты вздыхаешь, моя маленькая?

— Не знаю, просто так.

— Если на сердце тяжело, значит что-то тебя мучит. Что ты хочешь сказать маме, но не можешь решиться?

— У тебя такие маленькие ушки! Они такие маленькие, потому что ты мало ела?

— Нет, дорогая. У мамы такие маленькие ушки, потому что они сгорели.

И я объяснила Наде примерно то же самое. Я хотела, чтобы мои дочери слышали от меня одни и те же слова. Поэтому я слово в слово

рассказала ту же правду и Наде.

Это причинило ей боль. Надя не сказала, как ее сестра, что хочет убить того, кто это сделал, она попросила разрешения дотронуться до ушей. На мне были серьги, я их часто носила, чтобы скрыть следы прошлого.

— Ты можешь потрогать. Только не тяни за серьги, а то сделаешь мне больно.

Она слегка дотронулась до моих ушей и ушла в свою комнату, закрыв дверь.

Самое трудное для девочек наступило в школе. Они росли, и Антонио не всегда мог забирать их из школы. Представляю вопросы других детей. А почему твоя мама такая? А что с твоей мамой? А почему она всегда в свитере, даже летом? А почему у нее нет ушей?

Следующий этап разъяснений был очень трудным. Я стремилась упростить его, не рассказывая о Маруане. Я солгала. Я встретила мужчину, которого полюбила и который любил меня, но мои родители не дали разрешения на брак. Они решили меня сжечь, чтобы я умерла. Таков был обычай в моей стране. Но мадам Жаклин, которая часто навещала нас дома, привезла меня в Европу, чтобы вылечить.

Летиция всегда была более решительно настроена, чем молчаливая Надя. Летиции было лет двенадцать, когда она сказала мне, что хочет поехать туда и убить всех. Почти те же слова произнес ее отец, когда я поведала ему о своем прошлом и о том, как родился Маруан: «Я надеюсь, что они все околеют за то, что сделали с тобой!»

Теперь настала моя очередь, и ко мне вернулись ночные кошмары. Я лежала, спала, а мама пришла с блестящим ножом в руках. Она занесла его над моей головой: «Я убью тебя этим ножом!» И нож сверкал, как луч света... Это не было похоже на сон: мать была здесь, стояла у меня в изголовье. И я с ужасом просыпалась, вся в холодном поту.

Этот кошмар часто ко мне возвращался. Я всегда просыпалась в тот момент, когда нож сверкал сильнее всего. Самым невыносимым было видеть мою мать. Меня неотступно преследовало это лицо — страшнее, чем смерть, страшнее, чем огонь. Она хотела меня убить, она убивала своих детей, она способна на все, и это моя мать! Я вышла из ее утробы!

Я так боялась быть на нее похожей, что однажды решила перенести еще одну операцию, на этот раз косметическую. Одной больше, одной меньше... Эта операция должна была освободить меня от физического сходства, которое я больше не могла выносить, глядя на себя в зеркало. Небольшая шишка между бровей у основания носа, такая же, как у нее. Теперь у меня ее нет, и мне кажется, я стала от этого лучше. Однако

кошмары продолжались, и даже врач ничем не мог помочь. Возможно, надо было встретиться с психиатром, но почему-то эта мысль никогда не приходила мне в голову.

Однажды я обратилась за помощью к целительнице-знахарке, рассказав ей о своем случае. Она дала мне ножик, совсем маленький, и сказала: «Положите его под подушку с закрытым лезвием, и у вас больше никогда не будет этих кошмаров».

Я сделала так, как она сказала, и нож больше никогда не появлялся в моих сновидениях.

Но, увы, о матери я думаю всегда.

Чего мне не хватало

Я очень хотела бы научиться писать. Я умела читать, но только напечатанный текст. Написанное от руки я не могла разобрать, потому что научилась читать по газетам. Но иногда я натыкалась на слово, которое не могла прочесть. Тогда спрашивала своих дочерей.

Эдмонд Кайзер и Жаклин поначалу пытались дать мне некоторые разъяснения. Я всегда хотела научиться, чтобы быть как все. Мне было двадцать четыре года, когда я начала работать и выпала возможность пойти на трехмесячные курсы. Я была очень довольна. Это было непросто, потому что я должна была заплатить за них больше, чем была моя зарплата, и Антонио мне говорил: «Ничего страшного, я тебе помогу». А я отвечала: «Нет. Я хочу заплатить за курсы самостоятельно».

Мне хотелось самой сделать это, из своих собственных денег. Через три месяца курсы закончились, они мне очень помогли. Меня научили держать карандаш, как учат малышей, пришедших в детский сад, и писать свое имя. Я не знала, как написать а или с, ничего. Поэтому я выучила алфавит, букву за буквой, в то же время, что и язык. По истечении этих трех месяцев я была способна разобрать несколько слов в газете.

Я начала читать гороскоп, кто-то мне сказал, что мой знак Весы! Каждый день я расшифровывала свое будущее. Поначалу мне нужны были сжатые тексты и короткие фразы. Чтение больших статей пришло гораздо позже. Никто так тщательно не изучал некрологи и соболезнования, как я! «Семья X. с прискорбием сообщает о кончине мадам X. Да упокоится ее душа с миром!»

Я читала маленькие объявления о знакомствах, о продаже автомобилей, но скоро бросила это занятие, так как сокращенные слова были не для меня! Я хотела даже подписаться на какую-нибудь популярную ежедневную газету, но Антонио посчитал это блажью... Тогда каждый день перед работой я выпивала в кафе чашку кофе, читая газету. С этого начинался мой день. Мне очень нравились эти минуты. Для меня это было лучшим способом обучения. И мало-помалу, когда люди разговаривали о каком-то событии, я могла поддержать беседу, сказав, что читала об этом в газете. Люди путешествуют, уезжают, приезжают, говорят о море, ресторанах, отелях, пляжах. Я не могла обсуждать это все с ними. Теперь могу.

Я немного знаю европейскую географию, крупные столицы и

некоторые не очень большие города. Я видела Рим, Венецию и Портофино. Со своими приемными родителями я была в Испании, в Барселоне, правда, я оставалась там всего пять дней.

Это были летние каникулы. Стояла жара, и мне показалось, что мама с папой не идут из-за меня на пляж, потому что они вынуждены одеваться в закрытую одежду, как и я. Поэтому я вернулась, а они остались. Я не могла представить себя в купальнике. В таком случае мне надо было остаться на пляже в полном одиночестве, как у себя в ванной.

Не так уж много мне довелось повидать. Я знаю, что глобус — это модель мира, но меня никто не научил его понимать. Например, я знаю, что Соединенные Штаты — это Америка, но не могу показать эту Америку на глобусе. Даже местонахождение Палестины я не могу определить.

Я пробовала рассматривать учебники дочерей по географии, но не знала, с чего начать, чтобы представить все эти страны. Я не разбираюсь в расстояниях. Если кто-нибудь мне скажет: «Мы встречаемся с тобой в пятистах метрах от твоего дома», — я не смогу отмерить эти пятьсот метров. Визуально я ориентируюсь на улице или в магазине, которые мне известны. Но мир как таковой я совсем не могу себе представить. Я смотрю прогноз погоды по телевизору и пытаюсь вспомнить, где находятся Мадрид, Париж или Лондон, Бейрут и Тель-Авив.

Помню, как-то мне довелось работать вместе с отцом где-то недалеко от Тель-Авива. Я была еще маленькая, лет двенадцати. Нас отвезли туда собирать цветную капусту для соседа, который, в свою очередь, помогал нам косить пшеницу. Там был забор, защищавший нас от евреев, потому что мы были почти на их территории. Я думала, что достаточно зайти за этот забор, чтобы превратиться в еврея, и это казалось очень страшным. Все воспоминания моего детства связаны со страхом, я это хорошо понимаю.

Меня учили, что нельзя подходить к евреям, потому что они халуф, то есть свиньи. На них нельзя было даже смотреть. Находиться близко от них было поистине ужасно. Они ели по-другому, жили по-другому. Их нельзя было сравнивать с нами, мы различались, как день и ночь, как шерсть и шелк. Я понимала вещи только так. Шерсть — это евреи, а шелк — это мусульмане. Я не понимаю, почему мне это вбили в голову, но по-другому я и думать не могла.

Если еврея встречали на улице — впрочем, это происходило очень редко, — тут же происходила стычка с применением камней и палок. К ним нельзя было подходить, нельзя говорить с ними, иначе сам превратишься в еврея! Рано или поздно я должна была понять, что эта полная чушь. Эти

люди не сделали мне ничего плохого! Например, в нашем квартале была чудесная еврейская мясная лавка. Мясо там было самым лучшим, я его уже ела, но никогда не смела зайти туда одна. Тогда я шла в лавку к тунисцу, потому что он тунисец. Почему? Не знаю. Часто я говорила сама себе: «Суад, ты пойдешь и купишь это замечательное мясо, оно такое же, как любое другое!»

Я знаю, что когда-нибудь это произойдет. Но все еще боюсь. Я слишком много наслышалась в детстве, дескать, с ними нельзя иметь никакого контакта, что надо их игнорировать, как будто их вообще не существует на свете. Это хуже, чем ненависть. Для мусульман еврей самый злейший враг.

Я родилась мусульманкой, я всегда верила в Бога, я остаюсь мусульманкой, но сейчас у меня мало, что осталось от обычаев моей деревни. Я не люблю войну, я ненавижу насилие. Если меня в чем-то упрекают, к примеру, в том, что я, мусульманка, плохо отзываюсь о мужчинах моей страны — это со мной случается, — то, вместо того чтобы смолчать, я говорю, я спорю, я пытаюсь убедить оппонента, помочь ему понять то, чего он не знает.

Моя мать дралась с соседками. Она хватала камни и швыряла в них или вцеплялась им в волосы. У нас всегда, когда дерутся, таскают за волосы. А я пряталась за дверь, в печь для хлеба или в конюшне с баранами. Я не хотела этого видеть.

Я всегда хотела научиться тому, чего не знала. Понять, почему в мире все так по-разному устроено, и я надеялась, что моим детям удастся использовать этот шанс. И мое несчастье, моя судьба защищают их от жестокости, царящей в моей стране, от войны булыжников и злобы мужчин. Я не хочу, чтобы кто-то забивал им голову тем, из чего я до сих пор с трудом выбираюсь. Я пробовала размышлять над этим: если бы мне сказали, что у меня голубые глаза, но при этом не дали мне зеркала, то я бы всю жизнь верила, что у меня голубые глаза. Зеркало — это культура, образование, знание себя и других. Когда я смотрюсь в это зеркало, я говорю себе: «Какая же ты маленькая!»

Без зеркала я пойду по жизни, не отдавая себе отчета, если только не окажусь рядом с чем-то большим. А что я подумаю об этом большом, если оно тоже идет и не знает, что оно большое?

Я начала понимать, что ровным счетом ничего не знаю о евреях: я не изучала их историю, и если дело пойдет так и дальше, то я тоже могу сказать своим детям, что еврей — это халуф! Я и им внушу эти глупости, вместо того чтобы они сами смогли узнавать и думать.

Однажды Антонио сказал Летиции:

— Мне не хотелось бы, чтобы ты вышла замуж за араба.

— Почему, папа? Ведь араб такой же, как ты, как любой другой, как все остальные.

Тогда я сказала своему мужу: «Пусть будет араб, еврей, испанец или итальянец... самое главное, чтобы девочки выбрали тех, кого поллюбят, чтобы они были счастливы. Потому что я такой не была».

Я люблю Антонио, но не знаю, за что он любит меня, и у меня никогда не хватало смелости спросить его об этом, сказать ему: «Посмотри на меня, откуда я пришла и какая я сейчас. Я была сожжена, как же случилось, что ты захотел меня, в то время как вокруг столько других женщин?»

Я не верю в себя. Иногда я тревожно задумываюсь: «Боже мой, что же со мной будет, если он найдет другую женщину?»

И все же это странно. Когда я звоню ему по телефону, я всегда спрашиваю одно и то же: «Где ты, милый?» И когда он отвечает мне, что дома, мне сразу становится легко. Внутри меня всегда живет маленький страх. Страх быть покинутой мужчиной, который не вернется. Которого я буду с ужасом ждать в одиночестве, как я ждала отца Маруана.

Много раз, особенно в последнее время, я представляла себе Антонио с другой женщиной. Это стало еще одним кошмаром. Он начался спустя два дня после рождения младшей дочери Нади. Антонио шел с другой женщиной, держа ее за руку. И я говорила своей дочери Летиции: «Беги скорее за папой!» Потому что сама я не смела идти туда. И моя дочь тянула отца за рукав: «Нет, папа, не ходи с ней! Идем же!» Ей надо было привести его ко мне, и она тянула его изо всех своих сил! И этот кошмар никак не кончался. Я никогда не знала, вернется Антонио или нет. Последний раз я проснулась в полчетвертого ночи и не увидела Антонио. Я встала, его кресло было пустым, телевизор выключен. Я подбежала к окну, чтобы посмотреть, стоит ли на месте его машина, пока, наконец, не сообразила, что в его кабинете горит свет, что он работает над счетами своего предприятия.

Мне так не хватало спокойствия, хотелось освободиться от всех кошмаров! Но мои чувства по-прежнему обнажены: возбуждение, страх, неуверенность, ревность, постоянное беспокойство за жизнь. Что-то во мне сломалось, но люди даже не догадываются об этом, потому что я всегда улыбаюсь из вежливости или в знак уважения к ним.

Но когда я вижу проходящую мимо миловидную женщину, с великолепными волосами, длинными ногами и красивой гладкой кожей... Когда наступает лето — пора бассейнов и открытой одежды...

Я открываю свой шкаф: он полон одежды, застегивающейся до шеи. Тем не менее, я покупаю и другую: декольтированные платья, блузки без рукавов. Чтобы доставить себе удовольствие. Но я могу их носить, только надев сверху куртку, также застегнутую до шеи. Моя вторая кожа...

Каждое лето я злюсь. Я знаю, что бассейн открывается 6 мая и закрывается 6 сентября, и это просто сводит меня с ума. Мне хочется, чтобы шел дождь, чтобы температура не поднималась выше 25 градусов. Я становлюсь эгоисткой, но это вопреки моей натуре. Когда становится слишком жарко, я выхожу из дому только рано утром или поздно вечером. Я внимательно слушаю прогноз погоды, иногда у меня вырывается: «Вот и чудесно! Завтра будет плохая погода», — и дети начинают кричать!

— Мамочка, нехорошо так говорить! Мы очень хотим пойти в бассейн!

Если переваливает за тридцать градусов, я запираюсь у себя в комнате. Я закрываю дверь на ключ и плачу. Если бы у меня хватило смелости выйти из дому, надев два слоя одежды, тот, который я показываю, и тот, который меня скрывает, я бы боялась прохожих. Знают ли они, какая я? Спрашивают ли они себя, почему я одета летом, как зимой?

Я люблю осень, зиму и весну. К счастью, я живу в стране, где много солнца бывает лишь три-четыре месяца в году. Я не смогла бы жить на солнце, и, тем не менее, я родилась в такой стране. Я забыла эту страну, в которой золотистое солнце жгло землю, а потом становилось бледно-желтым в сером небе, перед тем как закатиться на ночь. Я не хочу больше солнца.

Иногда я смотрела на этот бассейн и ненавидела его. На мое несчастье, он был выстроен для удовольствия жильцов нашего дома.

Из-за бассейна началась моя проклятая депрессия.

Мне было сорок лет. Самое начало лета, июнь предвещал жару. Я только что сделала покупки в магазине на нижнем этаже нашего дома и смотрела в окно на улицу, на этих женщин, почти голых в своих купальниках. Одна из моих соседок, симпатичная девушка, вышла из бассейна в бикини, босиком, на плечах парео, рядом с ней был ее возлюбленный с обнаженным торсом. Я закрылась в комнате, снедаемая мыслью, что никогда не смогу сделать того же, что и они. Это было несправедливо! Было очень жарко. Тогда я открыла шкаф и стала рыться в нем. Я раскладывала на кровати разную одежду, пока не нашла что-то подходящее, и мне было неуютно в моей коже. Снизу короткие рукава, другую рубашку сверху. Нет, не могу, слишком жарко. Надеть прозрачную

кофточку, даже застегнутую наглухо, я не могу. Короткую юбку я не могу надеть из-за моих обезображенных ног, которые послужили материалом для пересадки кожи. Декольте, короткие рукава невозможны из-за шрамов. Все, что я разложила на кровати, было из серии «не могу».

Я вспотела, одежда прилипла к коже.

Я бросилась на кровать и расплакалась. Я не могла больше запираяться из-за этой жары, в то время как остальные находились на свежем воздухе, открыв свою кожу. Я могла рыдать, сколько угодно, я была совсем одна, девочки занимались в школе напротив нашего дома. Потом я подошла к зеркалу в спальне и сказала себе: «Посмотри на себя! Почему ты здесь? Ты не можешь пойти на пляж со своей семьей. Даже если и пойдешь, то лишишь их возможности оставаться в воде, потому что из-за тебя им надо будет возвращаться. Твои дочери в школе, но когда они вернутся домой, они захотят пойти в бассейн. К счастью для них, они имеют на это полное право, но не ты! Ты даже не можешь пойти в ресторан при бассейне, выпить кофе или лимонад, потому что боишься посторонних взглядов. Ты одета с головы до пят, как будто сейчас зима, не больше 10 градусов. Тебя примут за сумасшедшую! И к чему все это? Ты здесь, но тебя будто нет».

С этими мыслями я пошла в ванную, взяла пузырек снотворных таблеток, которые купила в аптеке без рецепта, потому что плохо засыпала. У меня в голове все перемешалось. Я высыпала таблетки и пересчитала. Их было девятнадцать, и я все проглотила.

Через несколько минут я почувствовала себя очень странно, все кружилось. Я открыла окно и плакала, глядя перед собой на крышу школы Летиции и Нади. Я открыла дверь квартиры, разговаривая сама с собой, и слышала себя со стороны, как будто говорю из глубины колодца. Я хотела подняться на седьмой этаж и прыгнуть с террасы, я пошла туда, засыпая на ходу и говоря сама с собой.

«Что они будут делать, если я умру? Они меня любят. Я родила их, а зачем? Чтобы они страдали? Мне что, своих страданий мало? Я не хочу, чтобы они страдали. Мы должны уйти из этой жизни все втроем, или ничего... Нет, я им нужна. Антонио работает. Он говорит, что работает, а сам может быть на пляже, я не знаю, где он... Вот он-то хорошо знает, что я дома, потому что на улице слишком жарко. Я не могу выйти, не могу одеться, как мне хочется. Почему это случилось со мной? Чем я так не угодила Богу? Что я натворила на земле?»

Я плакала в коридоре. Не знаю, как я там оказалась. Я вернулась в квартиру, чтобы закрыть окно, потом спустилась в холл, где почтовые ящики, чтобы подождать возвращения девочек. И потом уже ничего не

помню, до самого госпиталя.

Из-за таблеток я упала в обморок. Мне промыли желудок, и врач взял меня под наблюдение. На следующий день меня перевели в психиатрическую клинику. Психиатр, очень добрая женщина, вошла ко мне в палату.

— Здравствуйте, мадам...

— Здравствуйте, доктор.

Я хотела ей вежливо улыбнуться, но тут же залилась слезами. Она дала мне успокоительное и села рядом со мной: «Расскажите мне, как это случилось, почему вы приняли эти таблетки? Почему вы захотели покончить с собой?»

Я объяснила: солнце, бассейн, огонь, шрамы, желание умереть, — и опять принялась плакать. Я никак не могла разобраться, что происходило в моей голове. С этого бассейна, с этого дурацкого бассейна все и началось. Я хотела умереть из-за бассейна?

— Вы знаете, ведь уже второй раз вы чудом избежали смерти. Сначала муж вашей сестры, теперь вы сами. Мне кажется, что это уже слишком, и если вами не заниматься, то может произойти рецидив. Но я здесь именно для того, чтобы вам помочь. Вы сами хотите этого?

Целый месяц я проходила курс лечения с этим врачом, а потом она передала меня другой женщине-психиатру, к которой я ходила раз в неделю, по средам. Впервые в жизни, начиная с сожжения, я рассказывала кому-то постороннему, который находился здесь именно для того, чтобы меня слушать, о родителях, о несчастье, о Маруане... Нелегко мне было. В какие-то моменты мне хотелось все остановить, но я заставляла себя, потому что знала, что почувствую себя лучше.

Через какое-то время я стала находить врача слишком властной. Я чувствовала, что она хочет навязать мне путь, по которому я должна следовать. словно она говорила мне, что идти домой надо по правой стороне, в то время как я прекрасно знала, что по левой.

И я сказала себе: «Черт возьми! Она руководит мною, но ведь она мне не мать». Почему я обязана ходить к ней на прием каждую среду? Я бы хотела приходить тогда, когда захочу или когда мне понадобится. Мне бы также хотелось, чтобы она задавала мне вопросы, разговаривала со мной, смотрела на меня в четыре глаза. Не говорить же мне со стенами, пока она пишет. В течение года я боролась с желанием убежать. И я поняла, что была эгоисткой, что хотела умереть, отрицая существование моих обеих дочерей. Я думала только о себе, которая захотела уйти, наплевав на всех остальных. Это хорошо сказать: «Я хочу умереть»... А каково другим?

Дела мои шли на поправку, но все же иногда бывало очень мучительно. В особенности летом. Мы собирались переехать подальше от этого бассейна. Наш дом будет на краю дороги, но лето все равно придет. Даже в горах или в пустыне все равно наступает лето.

Иногда я говорила себе: «Господи, как мне хотелось бы не проснуться завтра утром, как хотелось бы умереть, чтобы больше не мучиться».

У меня есть семья, меня окружают друзья. Но я стесняюсь сама себя. Если бы я обгорела в автомобильной катастрофе или была парализована, я по-другому смотрела бы на свои рубцы. Это была бы судьба, никто в этом не виноват, даже я сама.

Но меня сжег муж моей сестры, и на то была воля моих отца и матери. Это не судьба и не роковая случайность сделали меня такой. Самое ужасное, что они сделали со мной, — они лишили меня не только кожи, но и меня самой не на месяц или на год, на всю оставшуюся жизнь.

Время от времени это ко мне возвращается... Мы смотрели вестерн, два человека дрались в конюшне. И один из них со злости зажег спичку и бросил ее в сено под ногами противника, тот загорелся и побежал, объятый пламенем. Я начала кричать, выплевывая все, что в тот момент ела. Я совершенно обезумела.

Антонио сказал мне: «Ну что ты, дорогая, это кино, всего лишь фильм». Он выключил телевизор, взял меня на руки, чтобы успокоить, и все повторял: «Дорогая, это же телевидение. Это неправда, это кино!»

А я была далеко отсюда, я опять бежала, охваченная огнем. В ту ночь я не спала. Я испытывала такой ужас перед огнем, что даже маленькое пламя парализовало меня. Я следила за Антонио, когда он закуривал сигарету, я ждала, пока спичка полностью погаснет или исчезнет пламя зажигалки. Из-за этого я почти не смотрела телевизор. Я боялась, что опять увижу что-то подобное. Мои дочери хорошо понимали причины моего волнения. Как только они замечали что-нибудь, что может меня взволновать, они тут же переключали картинку. Я не хотела, чтобы они зажигали свечи. В доме было все электрическое. Я не терпела огонь ни на кухне, ни где-либо еще. Но однажды один человек играл со спичками, выдвывая со смехом разные фокусы. Он налил спирт на палец и поджег его. Кожа не обгорела, это была игра.

Я вскочила, охваченная одновременно испугом и яростью: «Иди занимайся этим в другом месте! Вот я была сожжена. Ты не знаешь, что это такое!»

Огонь в камине меня не страшил, если я не подходила к нему близко.

Теплая вода тоже не смущала меня. Я боялась огня, горячей воды, плиты, конфорок, кастрюль, включенной кофеварки, телевизора, который может вспыхнуть, плохо установленных электрических розеток, пылесоса, непогашенных сигарет, всего... Всего, что связано с огнем. Мои дочери были в постоянном напряжении. Конечно, это ненормально, когда девочка четырнадцати лет из-за меня не может включить электрическую конфорку. Если меня не было дома, я не хотела, чтобы они пользовались плитой, кипятили воду для макарон или заваривали чай. Мне необходимо было присутствовать здесь же, рядом с ними, вся внимание, на нервах, быть уверенной, что все выключено. Не было ни дня, чтобы я перед сном не проверила, выключены ли конфорки.

С этим страхом я живу днем и ночью. Я понимаю, что осложняю жизнь близким. Мой муж терпелив, но иногда его охватывает беспричинное раздражение. Мои дочери должны будут научиться держать кастрюлю, чтобы я не дрожала за них. И рано или поздно им придется это сделать.

Другой страх пришел ближе к моему сорокалетию: мысль о том, что Маруан стал взрослым мужчиной, что я не видела его почти двадцать лет, что он знал о моем замужестве, и что у него есть сестры. Но Летиция и Надя не знали, что у них есть брат.

Эта ложь лежала на сердце тяжелым камнем, об этом я никому не рассказывала. Антонио знал о существовании Маруана с самого начала, но мы никогда не затрагивали эту тему. Жаклин знала, но никогда не раскрывала мою ложь. Она просила меня участвовать в конференциях, рассказывать другим женщинам о преступлениях во имя чести. Жаклин продолжала свою работу, ездила в командировки, возвращаясь оттуда иногда с победой, иногда ни с чем. Я должна была свидетельствовать о жизни сожженной женщины. Я была практически единственной, кому удалось выжить и все это пережить.

И я продолжала лгать, не раскрывая тайны существования Маруана, убеждая себя в том, что защищаю своего ребенка от ужаса его рождения. Но сейчас он стал почти взрослым мужчиной. И меня мучили вопросы: виновна ли я в том, что позволила его усыновить, или же защищаю самого Маруана.

Мне понадобилось время, чтобы понять, как здесь все взаимосвязано. В моей деревне не было психиатра, и женщины не задавали себе подобных вопросов. Мы были виноваты лишь в том, что родились женщинами.

Мои дочери росли и «почему, мама» становились все более

настойчивыми.

— Но почему они сожгли тебя, мама?

— Потому что я хотела выйти замуж за парня, которого выбрала и от которого ждала ребенка.

— А что стало с этим ребенком? Где же он?

Он остался там, в сиротском приюте. Я не могла сказать им ничего другого.

Выживший свидетель

Итак, Жаклин попросила меня выступить свидетелем от имени ассоциации «Возникновение». Она ждала, чтобы мои нервы пришли в норму после этой депрессии, чтобы мне удалось наладить нормальную жизнь, чтобы я выросла в мою новую страну вместе с мужем, детьми, работой, уверенностью. Я чувствовала себя лучше, но все же оказалась беззащитной и слабой перед публикой, состоящей из европейских женщин. Я им рассказывала о мире, который так отличался от их привычной среды, о жестокости, совершенно для них необъяснимой.

Я рассказала этим женщинам с самого начала свою историю, сидя на сцене за маленьким столиком с микрофоном. Жаклин была рядом со мной. И они стали задавать мне вопросы: «Почему он вас сжег?.. Вы сделали что-то плохое?.. Он вас сжег только за то, что вы разговаривали с мужчиной?»

Я никогда не говорила о том, что ждала ребенка. Сначала потому, что была я беременна или нет, сплетен или разоблачения было достаточно, чтобы последовало то же наказание. Жаклин кое-что знала об этом. Но главным образом — чтобы оградить моего сына, который ровном счетом ничего не знал о моем прошлом и своем собственном. Я никогда не называла своего настоящего имени, анонимность была средством безопасности. Жаклин знала случаи, когда родственникам удавалось найти свою дочь за многие тысячи километров и убить ее.

Из публики поднялась одна женщина и спросила:

— Суад, у вас приятное лицо, где же ваши шрамы?

— Мадам, я прекрасно понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос, я его ждала. Сейчас я покажу вам, где мои шрамы.

Я встала перед всеми и сняла свою верхнюю рубашку. Под ней была декольтированная блузка с короткими рукавами. Я показала руки, показала спину. И эта женщина заплакала. Несколько мужчин, находящихся в зале, чувствовали себя неловко. Они испытывали ко мне сострадание.

Когда я демонстрировала им свое тело, у меня все же было ощущение, что для них я что-то вроде ярмарочного уродца. Однако это меня не смущало. Я должна была дать им понять, что выжила чудом. Я медленно умирала, когда в мой госпиталь пришла Жаклин. Именно ей я обязана жизнью, и сейчас ассоциация «Возникновение» нуждается в живом свидетеле, чтобы возбудить интерес публики к преступлениям во имя чести. Как правило, люди об этом ничего не знают. Во всем мире слишком

мало тех, кто выжил. А, кроме того, они не должны из соображений безопасности выставлять себя напоказ. Эти женщины избежали преступлений во имя чести благодаря посредничеству ассоциации во многих странах. Не только в Иордании или Палестине, но и на всем Среднем Востоке, в Индии, в Пакистане...

Эту часть свидетельства взяла на себя Жаклин. Она объяснила также, что совершенно необходимо предпринимать меры безопасности для всех выживших женщин.

Когда я впервые выступала в качестве свидетеля, я жила в Европе уже около пятнадцати лет. Моя жизнь полностью изменилась, я способна на смелость, которую женщины в моей стране пока не могут проявить. Мне часто задавали вопросы о моей личной жизни, но аудиторию интересовала и судьба женщин в моей стране. Один мужчина задал мне такой вопрос.

Порой мне трудно подобрать нужные слова, когда речь идет о моей собственной несчастной жизни, но я воодушевляюсь, говоря о других, так, что не могу остановиться.

«Месье, там, у женщины нет жизни. Многих девушек избивают, плохо с ними обращаются, их душат, жгут, убивают. И для нас, там, это совершенно нормальные вещи. Моя мать хотела отравить меня, чтобы «завершить» дело, начатое мужем моей сестры, и для нее это было в порядке вещей, это составляло часть мира, в котором она жила. Такова обычная жизнь наших женщин. Тебя поколотили — это нормально. Тебя сожгли — это нормально, тебя задушили — это нормально, с тобой плохо обращаются — это нормально. Как говорил мой отец, коровы и бараны ценнее женщин. Если не хочешь умереть, — замолчи, повинуйся, пресмыкайся, выходи замуж девственницей и рожай сыновей. Если бы я не встретила на своем пути мужчину, у меня была бы именно такая жизнь. И мои дети стали бы такими же, как я, а мои внуки — такими же, как мои дети. Если бы я жила там, я стала бы такой же, как моя мать, которая душила собственных детей. И я, возможно, убила бы свою дочь. Дала бы ее сжечь. Сейчас я думаю о том, как это чудовищно! Но если бы я оставалась там, я бы жила по их законам! Когда я была там, в госпитале и медленно умираю, я была уверена, что так и должно быть. Но когда я приехала в Европу, я поняла в возрасте двадцати пяти лет, что есть страны, где не жгут женщин, где девочки так же желанны, как и мальчики. Для меня мир ограничивался моей деревней. Моя деревня была чудесная, это был целый мир, простиравшийся до рынка! За рынком мир уже менялся — там девушки красились, носили короткие юбки и декольтированные платья. Вот они-то не были нормальными. А моя семья была! Мы были чисты, как

шерсть ягненка, а те, что жили за рынком, были нечистыми!

Девочки не имели права ходить в школу — а почему? Чтобы не знать о мире. Самое главное на свете — это родители. Что они сказали, то и надо делать. И только от них исходят знание, закон, образование. Вот почему для нас не существовало другой школы. Чтобы мы не ездили на автобусе, чтобы мы не одевались по-другому, чтобы в руке у нас не было портфеля, чтобы нас не учили читать и писать, — это слишком интеллигентно, нехорошо для девушки! Мой брат был единственным среди сестер; одевался так же, как в больших городах, ходил в парикмахерскую, в школу, в кино, свободно выходил из дома. А почему? Только потому, что у него болтается кое-что между ног! Ему повезло, у него два сына, но, в конце концов, это не ему повезло больше всех, а его дочерям. Да, именно им несказанно повезло, что они не родились!

Фонд «Возникновение» и Жаклин вместе с ним стремятся спасти этих девушек. Но это нелегко. Мы сидим, здесь сложа руки. Я вам говорю, а вы меня слушаете. А они там страдают! Именно по этой причине я свидетельствую о преступлениях во имя чести по просьбе ассоциации «Возникновение» и уверена, что эти преступления продолжаются!

Я живу, и я уверенно стою на ногах благодаря Господу Богу, Эдмонду Кайзеру и Жаклин. Ассоциация «Возникновение» взяла на себя смелость и огромную работу, чтобы помочь этим девушкам. Я ими восхищаюсь. Не знаю, как им это удастся. Я бы лучше принесла еду или одежду беженцам, больным, чем выполнять их работу. Надо остерегаться в чужой стране любого. Можно разговаривать с любезной женщиной, а она на тебя донесет, потому что ты хочешь помочь, а она против. Жаклин обязана вести себя, как они, есть, ходить и говорить, как они. Она должна раствориться в этой стране, чтобы сохранить свою анонимность!»

— Спасибо, мадам!

Сначала мне было страшно, я не знала, как разговаривать с публикой, а сейчас Жаклин вынуждена меня останавливать!

Говорить с аудиторией мне не трудно, но я боялась выступления по радио — из-за моего окружения, работы, моих дочерей, которые знали кое-что, но далеко не все. Им было примерно десять и восемь лет, у них были школьные друзья, и мне хотелось, чтобы они не все выкладывали им, если приятели будут их спрашивать.

«Ой, здорово, как я хотела бы пойти с тобой!» — такая реакция Летиции одновременно внушала доверие и тревогу. Мама будет выступать по радио, это здорово... Я вполне понимала, что дочери еще не представляют, что заставляет меня выступать свидетелем, и кроме моих

шрамов они почти ничего не знают о моей жизни. Рано или поздно, когда они станут старше, я должна буду им все сказать, и это заранее делало меня больной.

Впервые я выступала перед такой широкой аудиторией.

Мои дочери из этой программы узнали новую сторону моей истории. После передачи реакция Летиции была очень бурной.

«Мама, немедленно одевайся, бери чемодан, едем в аэропорт и добираемся до твоей деревни. Мы сделаем с ними то же самое. Мы их сожжем! Мы возьмем спички и сожжем их, как они сделали это с тобой! Я не могу больше видеть тебя такой.

В течение шести месяцев она наблюдалась у психолога, а потом однажды заявила мне: «Ты знаешь, мамочка, это ты — мой психолог. Мне повезло, что я могу говорить с тобой обо всем, от «а» до «я». Ты отвечаешь на все вопросы, которые я тебе задаю. Поэтому я больше не хочу ходить туда».

Мне не хотелось заставлять ее силой. Я позвонила доктору, и мы подвели итог. Он полагал, что еще необходимо пройти несколько дополнительных сеансов, но что в настоящее время не стоит ее принуждать. «Но если вы заметите, что ей не по себе, что она изъясняется с трудом, подавлена, лучше привести ее ко мне».

Я опасалась, что моя история со временем ляжет на моих дочерей тяжелой ношей. Они боялись за меня, а я боялась за них. Я ждала, пока они станут достаточно зрелыми, чтобы понять то, что я пока им еще не рассказывала: о моей прежней жизни во всех подробностях, о мужчине, которого я хотела видеть своим мужем, — отце Маруана. Я очень страшилась этих откровений — гораздо больше, чем свидетельских показаний, о которых меня просили. Еще было важно, чтобы они не возненавидели страну, откуда я приехала и которая была наполовину их страной. Они абсолютно не представляли себе, что там происходило. Как уберечь их от ненависти к мужчинам той страны? Земля прекрасна, но мужчины плохи. На палестинских территориях женщины борются, чтобы законы были не только те, что устанавливают мужчины. Но голосуют за законы мужчины.

В некоторых странах женщины попадают в тюрьму. И это единственный способ уберечь их, спрятать, спасти от смерти. Но даже в тюрьме они не находятся в полной безопасности. Зато мужчины, которые хотят их убить, на свободе. Закон не наказывает их вовсе, а если и наказывает, то все равно в скором времени у них оказываются развязаны

руки, чтобы душить, жечь, мстить за свою пресловутую честь.

И даже если кто-нибудь придет в деревню или город, чтобы предотвратить преступление, даже если он будет вооружен пулеметом, их будет десять против одного, сто против десяти! Если судья осудит мужчину за преступление во имя чести как простого убийцу, этот судья просто не сможет больше выйти на улицу, он не сможет жить там, он вынужден будет бежать от стыда, потому что осудил «героя».

Я спрашиваю себя, что случилось с мужем моей сестры? Провел ли он хотя бы несколько дней в тюрьме? Моя мать говорила что-то о полиции, о неприятностях, которые ожидали моего брата и мужа сестры, если я не умру. Почему же полиция не пришла ко мне в госпиталь? Ведь это я была жертвой, получившей ожоги третьей степени!

Еще много лет назад я встречала девушек, приехавших издалека, так же как и я. Их прячут. У одной не было ног: на нее напали два соседа, связали ее и бросили под поезд. Другая была изрезана ножом собственными отцом и братом, после чего выброшена в мусорный контейнер. Третью девушку вытолкнули из окна мать и два брата: она осталась на всю жизнь парализованной.

О многих других мы не говорим, их нашли слишком поздно, когда они уже были мертвы. Кое-кому удалось бежать, но они были настигнуты за границей и убиты. Некоторым, к счастью, удалось избежать смерти и спрятаться, — и девушкам, и матерям с детьми.

Ни разу я не встретила женщину, выжившую после сожжения, как я. И я вынуждена скрываться всегда, не могу назвать свое имя, показать свое лицо. Я могу только говорить, и это мое единственное оружие.

Жаклин

Как сегодня, так и завтра, моя роль — спасти других Суад. Это долгая изнурительная работа, постоянно требующая денег. Наш фонд назван «Возникновение», потому что надо возникнуть в нужный момент, чтобы помочь этим женщинам избежать смерти. Мы работаем по всему миру, и в Афганистане, и в Марокко, и в Чаде. Везде, где можем срочно вмешаться. Но наша помощь продвигается так медленно! Ежегодно отмечается более шести тысяч случаев преступлений во имя чести. Но за этой цифрой прячутся самоубийства, несчастные случаи, которые не поддаются статистике...

В некоторых странах женщин заключают в тюрьму, когда у них хватает смелости обратиться за помощью. Некоторые находятся там по пятнадцать лет! Потому что единственный человек, который может выволить ее из тюрьмы, — отец или брат, то есть тот, кто хотел убить ее.

Но даже если отец просит выпустить дочь из тюрьмы, очевидно, начальник тюрьмы откажет в этом! Насколько я знаю, были случаи, когда их выпускали, — и в скором времени они оказывались убитыми.

В Иордании — и это только один пример — существует закон, гласящий, как и в большинстве мусульманских стран: любое убийство, общеправовое преступление карается тюремным заключением. Но в примечании к этому закону есть статьи 97 и 98, уточняющие, что судьи могут быть снисходительны к обвиняемым в преступлении во имя чести. Наказанием для них предполагается тюремное заключение сроком от шести месяцев до двух лет. Осужденные, порой имеющие ореол героя, как правило, не отсидживают свой срок полностью. Ассоциации женщин-адвокатов борются за внесение поправок в эти статьи. Однако вносятся поправки в любые другие, но не в 97-ю и 98-ю.

Мы работаем с ассоциациями женщин на местах, которые в течение многих лет разрабатывают и внедряют программы предупреждения насилия и содействия женщинам, ставшим жертвами насилия в своей стране. Это работа длительная и часто осложненная непримиримым противодействием... Но шаг за шагом дело продвигается вперед. Женщины Ирана имеют некоторые завоевания в борьбе за свои гражданские права. Женщины Среднего Востока узнали, что в их странах существуют законы, предоставляющие им некоторые права. Законодательные инициативы представлены на рассмотрение парламента, и к некоторым законам

приняты поправки.

Постепенно власти начинают признавать эти преступления. Статистические данные официально объявляются в отчетах Комиссии по правам человека в Пакистане. На Среднем Востоке официальная медицина многих стран публикует число известных случаев насилия и исследует исторические и современные причины живучести этих архаических обычаев.

Больше всего девушек и женщин убито в Пакистане, на Среднем Востоке и в Турции, и именно там еще предстоит очень потрудиться, чтобы убедить людей отказаться слепо следовать этим диким обычаям.

В недавнем прошлом такие авторитетные политики, как король Хуссейн и принц Хассан, открыто выступили против преступлений во имя чести, назвав их преступлениями бесчестья. Имамы и христианские священнослужители непрерывно объясняют, что преступление во имя чести чуждо как Корану, так и Евангелию.

Мы не теряем ни надежды, ни настойчивости. «Возникновение» имеет привычку стучаться в любую дверь, даже с риском, что ее захлопнут перед носом. Иногда нам удается достучаться.

Мой сын

Летиция и Надя были еще маленькими, когда я впервые приехала навестить свою приемную семью с тех пор, как оставила там Маруана. Я опасалась реакции сына на то, что у него появились две маленькие сестрички. Он входил в подростковый возраст, я выстроила свою жизнь без него, я не знала, будет ли он обо мне помнить, не обидится ли на меня или вовсе не проявит интереса. Каждый раз, когда я звонила, предупреждая о своем приезде и высказывая беспокойство, мне говорили: «Нет, нет, не волнуйся, Маруан в курсе, ты можешь приезжать».

Но очень часто его не было дома. В ответ на расспросы меня всегда уверяли, что у него все в порядке. За двадцать лет я видела его три раза. И каждый раз мне было очень больно. Я возвращалась домой вся в слезах. Мои дочери виделись с Маруаном, не имея представления, кто он такой, он же знал о них. Но он ничем этого не выказывал, ничего не требовал, и я тоже молчала. Эти визиты были большим испытанием для меня. Я не могла с ним говорить, у меня не было сил.

Последний раз Антонио сказал мне: «Мне кажется, что лучше тебе больше туда не ездить. Ты все время плачешь, ты подавлена, это совершенно никому не нужно. У него своя жизнь, родители, семья, друзья... оставь его в покое. Когда-нибудь, если он попросит, ты все ему объяснишь».

Я всегда чувствовала себя виноватой, я отказывалась вернуться в свое прошлое до такой степени, что никто не знал, кроме моего мужа и Жаклин, что у меня есть сын. Оставался ли он по-прежнему моим сыном? Я не хотела семейной драмы.

В последний раз, когда я его видела, ему было лет пятнадцать. Временами он даже играл со своими сестрами... Наше общение сводилось к обмену несколькими банальными фразами: «Добрый день, как твои дела?..» — «Спасибо, ничего, а у тебя?»

И вот прошло десять лет. Я полагала, что он уже забыл меня, что я не существую больше в жизни этого взрослого мужчины. Я знала, что он работает, живет с подружкой в маленькой студии, как все молодые люди его возраста.

Летиции было тринадцать, Наде двенадцать лет. Я занималась их воспитанием и убеждала себя, что выполняю свой долг. В моменты хандры, думая лишь о себе, я говорила себе, что лучше забыть обо всем, чтобы

продолжать выживать дальше. Я завидовала счастливым людям, детство которых не было омрачено несчастьями, у которых не было тайн, и они не жили двойной жизнью. Я всеми силами хотела похоронить мою первую жизнь, чтобы попробовать жить, как они. Но каждый раз, когда мне надо было рассказывать об этой кошмарной жизни на очередной конференции, мое счастье шаталось, как плохо выстроенный дом. Антонио хорошо это видел, и Жаклин тоже. Я была очень ранимой, но делала вид, что я не такая.

Однажды Жаклин сказала мне:

— Ты сможешь оказать очень большую услугу другим женщинам, если мы напишем книгу о твоей жизни.

— Книгу? Но я же едва умею писать...

— Но зато ты умеешь говорить...

Я не знала, как можно «наговорить» книгу. Ведь книга — это что-то очень важное... К сожалению, я не принадлежу к числу тех людей, которые читают книги. Мои дочери их читают, Антонио может их читать. Я же предпочитаю утреннюю газету. Я находилась под таким сильным впечатлением, что это беспрестанно вертелось у меня в голове.

В течение нескольких месяцев, наблюдая, как растут мои девочки, я говорила себе, что настанет день, когда я должна буду рассказать им больше. А если все будет изложено в книге один раз для всех, это совсем не так страшно, как стоять перед моими дочерьми, лицом к лицу.

До сего дня я постепенно им рассказала только самое существенное, чтобы объяснить, почему мое тело такое. Но рано или поздно они захотят понять все, и их будущие вопросы будут ранить меня острее ножа.

Я до сих пор не способна рыться в своей памяти в поисках остального. Заставляя себя забыть, забываешь по-настоящему. Психиатр объяснил мне, что это обычное явление, последствие шока и страданий, вызванных отсутствием элементарного ухода и лечения. Однако самой серьезной проблемой оставался Маруан. Слишком долго я жила во лжи во имя безопасности моего сына. И жила плохо.

Если я соглашалась рассказать о себе в книге, значит, должна была говорить и о нем. Но имела ли я на это право? И я сказала — нет. Я слишком боялась. На карту ставилась и моя, и его безопасность. Ведь книга разойдется по миру. А если кто-нибудь из моих родственников найдет меня? А если они причинят зло Маруану? Они ведь способны на все. С одной стороны, мне очень хотелось выпустить эту книгу. Мне частенько случалось мечтать наяву о невозможной мести. Я представляла себе, как проберусь туда, хорошенько спрятавшись, пока не найду своего брата. В

моей голове словно крутился фильм.

Я подходила к дому и говорила: «Ты помнишь меня, Ассад? Ты видишь, я жива! Посмотри-ка на мои ожоги. Это твой родственник Хуссейн сжег меня, но я здесь!

Ты помнишь мою сестру Ханан? Что ты сделал с моей сестрой? Ты бросил ее собакам? А твоя жена? У нее все хорошо? Почему же меня сожгли в тот самый день, когда она родила своих сыновей? Я была беременна, и надо было еще сжечь и моего сына тоже? Объясни, почему ты ничего не сделал, чтобы помочь мне, мой единственный кровный брат?

Вот, познакомься с моим сыном Маруаном. Он родился в городской больнице, на два месяца раньше срока, но он высокий и красивый, и главное — живой! Полюбуйся на него!

А Хуссейн? Он стал стариком или уже умер? Надеюсь, что он еще жив, но ослеп или разбит параличом, пусть же посмотрит на меня живую. Надеюсь, что ему выпали такие же мучения, как те, что я пережила!

А мой отец, моя мать? Умерли? Скажи мне, где их могилы, чтобы я пошла туда и прокляла их!»

Я часто воображала себе эти сцены отмщения. Эта мечта делала меня жестокой, как они. Я хотела убивать, как они! Они все думали, что я умерла, и мне так хотелось, чтобы они увидели меня живой!

Почти целый год я отказывалась от книги, соглашаясь на это только при условии, что сын останется за рамками повествования. И Жаклин уважала мое решение. Ей, конечно, было жаль, но она меня понимала.

Однако мне не хотелось братья за книгу, рассказывая о себе и не рассказывая о нем, и я никак не решалась на встречу с Маруаном, чтобы разрубить этот узел. Жизнь продолжалась, а я никак не могла прийти к решению, делать книгу или не делать! Как поговорить с Маруаном? Позвонить ему в один прекрасный день, просто так, без предупреждения, после стольких лет молчания и сказать: «Маруан, нам надо поговорить»?

А как мне представиться? Мама? Что делать, оказавшись лицом к лицу? Пожать руку? Поцеловать? А если он забыл меня? И он имеет на это право, потому что я сама его «забыла»...

Еще одна вещь, о которой меня заставила задуматься Жаклин, нарушила мое спокойствие: «А что случится, если Маруан встретит одну из своих сестер, а она не будет знать, что это ее брат? А если она в него влюбится и приведет его в дом, что ты будешь делать?»

Я об этом никогда не задумывалась. Нас разделяли всего какие-то двадцать километров. Летиции должно было исполниться четырнадцать лет, у нее наступало время романов с мальчиками... Надя шла вслед за

ней... Что такое двадцать километров? Ничто! Мир тесен. Несмотря на эту маловероятную, но все же возможную опасность, я никак не могла решиться. Прошел еще год.

И наконец-то все разрешилось само собой. Маруан позвонил мне домой. Я была на работе, и к телефону подошла Надя. Маруан просто сказал:

«Я знал твою маму, мы были вместе в приемной семье. Можешь попросить ее мне позвонить?»

Когда я вернулась домой, Надя никак не могла найти клочок бумаги, на котором она записала номер телефона. Она искала везде, я нервничала. Можно было сказать, что судьба препятствует нашей встрече с Маруаном. Я не знала, где он живет и где работает. Я могла бы позвонить его приемному отцу, но мне не хватало смелости. Я трусила, я обижалась на себя. Но мне было легче уповать на судьбу, чем посмотреть на себя в зеркало. Он перезвонил сам, в четверг. И сам сказал: «Нам надо поговорить». И мы договорились о встрече на завтра, в полдень. Я встречу со своим сыном, я знала, что он будет ждать меня. Грубо говоря, вопрос будет такой: «Почему ты отдала меня на усыновление, когда мне было пять лет? Почему не оставила с собой?.. Объясни мне».

Я хотела выглядеть красивой. Я пошла к парикмахеру, я подкрасилась, оделась просто: джинсы, кроссовки и красная рубашка с длинными рукавами и застегнутым воротником. Встреча была назначена ровно на двенадцать часов в городе, перед рестораном.

Улица была узкой. Он шел из центра, я со стороны вокзала, мы не могли разминуться. Я узнала бы его из тысячи и увидела еще издали, он шел с зеленой спортивной сумкой. Я представляла его подростком, а ко мне подходил улыбающийся мужчина. У меня подкашивались ноги, руки начали дрожать, а сердце было готово выпрыгнуть из груди, как будто я встретила мужчину всей своей жизни. И это была любовная встреча. Он был высоким, он сильно склонился надо мной, чтобы поцеловать меня, так просто, словно мы расстались накануне, и я его тоже поцеловала.

— Хорошо, что ты позвонил.

— Я звонил пару недель назад, но поскольку ты мне не перезвонила, я сказал себе: «Все понятно, она не хочет меня видеть...»

Я объяснила, что Надя задевала куда-то его номер телефона.

— А если бы я не позвонил тебе вчера, ты бы мне перезвонила?

— Не знаю, не думаю, нет. Я не осмеливалась из-за твоих родителей... я знаю, что мама умерла...

— Да, папа сейчас один, но он держится... а у тебя как...

Он не знал, как меня называть. Еще с самого начала мы привыкли называть приемных родителей «папа» и «мама», и это совсем не упрощало задачу. Кто из нас мама?

И я сказала ему:

— Знаешь, Маруан, ты можешь звать меня мамой. Ты можешь называть меня Суад, можешь называть маленькой, большой, как тебе захочется. И если Бог захочет, то мы с тобой сейчас познакомимся.

— Хорошо. Мы пойдем обедать, там и поговорим.

Мы устроились за столом, и я пожирала его глазами. Он был похож на своего отца. Тот же силуэт, та же быстрая походка, тот же взгляд, и, тем не менее, он был другим. Он слегка напоминал мне и моего брата... но был спокойнее, черты лица мягче. Он производил впечатление человека, воспринимающего жизнь такой, какая она есть, не слишком усложняя ее себе, просто и прямо.

— Объясни мне, как ты была сожжена.

— Разве ты этого не знаешь, Маруан?

— Нет. Мне никто никогда об этом не говорил.

Я стала объяснять, и по мере того как рассказывала, его взгляд менялся. Когда я говорила о том, как на мне горел огонь, он отложил сигарету, которую только что закурил.

— И я был у тебя в животе?

— Да, ты был у меня в животе. Я рожала совсем одна. Но я тебя совсем не чувствовала из-за своих ожогов. Я только видела, что ты был у меня между ног, и все. А потом ты исчез. И только позже Жаклин пришла за тобой, чтобы увезти тебя вместе со мной на самолете. Мы с тобой прожили вместе девять месяцев в госпитале, а потом нас определили к папе и маме.

— Выходит, все эти ожоги из-за меня?

— Нет, что ты, совсем не из-за тебя! Нет, никогда! К несчастью, таков обычай в моей стране. Там у мужчин свои законы. И ответственность за все случившееся лежит на моих родителях, муже моей сестры, но ни в коем случае не на тебе!

Он смотрел на мои рубцы, на мои уши, шею, нежно положил ладонь на мою руку. Я чувствовала, что он догадывается и об остальных ожогах, но не просил показать. Боялся спросить?

— Ты не хочешь смотреть...

— Нет. Меня тошнит от этой истории, мне делается еще больнее. А мой отец, какой он? Похож на меня?

— Да, верхняя часть лица... Я не так часто видела тебя, но держишься

ты как он, прямо и гордо. И потом затылок, рот, особенно руки. У тебя такие же руки, как у него, до кончиков ногтей... Он был только чуть выше тебя, такой же мускулистый, как ты. Он был красивый. Сейчас смотрела на твои плечи и подумала, что передо мной твой отец.

— Тебе это, должно быть, греет сердце, ведь ты его все-таки любила?

— Ну конечно, я его любила. Он пообещал мне, что женится... а потом, ты видишь, когда он понял, что я беременна, он больше не пришел...

— Но это же отвратительно, так тебя бросить! В конце концов, получается, что все произошло из-за меня...

— Маруан, нет. Никогда не думай так. Это из-за мужчин, которые там живут. Позднее, когда ты лучше узнаешь эту страну, ты поймешь.

— Мне хотелось бы встретить его как-нибудь. Мы сможем поехать туда? Вдвоем? Специально посмотреть, как это будет, взглянуть на него... хотелось бы мне увидеть его физиономию. А он знает о моем существовании?

— Это было бы удивительно. Ты ведь знаешь, я никогда его больше не видела... И потом, эта война в тех краях... Нет, лучше уж никогда их не видеть.

— Это правда, что я родился семимесячным?

— Да, правда. Ты родился без всякой помощи, я долго тебя не видела, и ты был такой крошечный...

— А в котором часу?

— В котором часу? Не знаю... Это было 1 октября, как мне потом сказали. Я-то сама ничего не знала про это. Не могу ничего тебе сказать по поводу часа... Главное, что ты родился целым с головы до пят!

— Почему ты приходила к нам, навещала родителей, а со мной ни словом не перемолвилась?

— Я не осмеливалась в присутствии папы и мамы, которые тебя усыновили. Мне не хотелось причинять им боль. Ведь это именно они тебя воспитали, они сделали для тебя все, что могли.

— А я помнил о тебе. Как в моей комнате ты давала мне йогурт, и вдруг у меня выпал зуб, и кровь попала в стаканчик с йогуртом, я не хотел это есть, а ты меня заставила съесть. Вот что я помню.

— А я не помню... Ты знаешь, в тот момент я занималась еще и другими детьми, мама говорила, что я не должна заниматься одним тобой больше, чем другими детьми... И потом, у родителей нельзя было выбрасывать еду, она стоила слишком дорого для всех этих детей.

— А когда мне было четырнадцать или пятнадцать лет, мне так

безумно хотелось тебя, ты знаешь... Я ревновал.

— Ревновал кого?

— Тебя. Я хотел бы, чтобы ты постоянно находилась там, со мной.

— А теперь? Сегодня?

— Мне очень хочется узнать тебя, узнать столько всего...

— Ты не обижаешься на меня за то, что у меня другие дети?

— Что ты! Это здорово иметь сестричек... С ними мне тоже хотелось бы познакомиться.

Он посмотрел на часы, пора было и мне возвращаться на работу.

— Жаль, что тебе надо идти, очень жаль. Я бы хотел остаться с тобой.

— Да, но я должна. Может быть, хочешь прийти к нам завтра?

— Нет, слишком рано. Я предпочитаю встретиться с тобой где-нибудь в другом месте.

— Тогда завтра вечером, в семь часов, на том же месте. Я приду с девочками.

Он был счастлив. Я и не ожидала, что все пройдет так легко. Я думала, он будет так обижен на меня, презирать за то, что я отдала его на усыновление. А он даже не спросил об этом. Он поцеловал меня, и я его поцеловала, мы сказали друг другу: «До свидания и до завтра».

И я пошла на работу, а в голове у меня словно гудел рой пчел. С души упал огромный камень. Что бы теперь ни случилось, я освободилась от многолетнего застарелого страха. Я сожалею о том, что не оказалась способна оставить моего сына со мной. Надо будет однажды, в самом деле, попросить у него прощения за то, что добровольно забыла его ради воссоздания собственной жизни. Я была мертвой в собственном сознании, вместо мыслей текла вода, я сама не знала, что делаю. Я словно плыла по течению. Я должна была ему это сказать и признаться: несмотря на то, что его отец бросил нас обоих, я любила его, этого человека. И не моя вина была в том, что он оказался таким же подлецом, как и другие. И еще одно признание я была обязана сделать: «Маруан, мне было так страшно, что я била себя по животу...» Он должен простить меня за то, что я это делала. Я думала, что если появится кровь, то это спасет меня, ведь я ничего не знала об этом. Тогда я ничего не испытывала, кроме страха! Сможет ли он понять меня и простить? Смогу ли я сказать все это своему сыну? А своим дочерям? Как они будут судить меня, все трое?

Я была в таком возбуждении, что не спала всю следующую ночь. Опять, в который раз, я бежала по саду как безумная, охваченная огнем.

Антонио предоставил мне самой разбираться со своими трудностями, в тот момент он не хотел вмешиваться, но видел, что со мной не все в

порядке.

— Ты говорила с девочками?

— Нет еще. Завтра... Мы будем ужинать вместе с Маруаном, и я найду подходящий момент, чтобы с ними поговорить. Но мне страшно, Антонио.

— Дело сделано. Теперь ты не можешь отступать.

В три часа сорок семь минут ночи от Маруана пришло сообщение на мой мобильный: «Просто хочу сказать тебе, что у меня все в порядке и я тебя целую. До завтра, мама».

И я заплакала.

Построить дом

В тот вечер Антонио ушел к другу, чтобы оставить меня одну с детьми.

Субботний вечер, семь часов 16 ноября 2002 года.

Ужин был веселым. Они ели все подряд, их все смешило. Летиция, ужасная болтушка, не переставала тараторить, как всегда. Маруан пришел со своей подружкой. Для моих дочерей он пока официально оставался одним из детей, с которым мы были в приемной семье. Его присутствие их не удивило, они были счастливы «выйти в свет» субботним вечером с мамой и друзьями.

Они не росли вместе, но, тем не менее, имели вид соучастников. Я боялась, что эта вечеринка будет для меня испытанием. Антонио перед уходом сказал: «Если я тебе буду, нужен, позвони, я за тобой приду».

Как ни странно, но я чувствовала себя прекрасно и почти ничего не боялась. Только слегка беспокоилась по поводу моих девочек. Маруан подтрунивал над старшей:

— Ну-ка, Летиция, сядь-ка рядом со мной, иди сюда!

Он в шутку прижал ее к себе. А она наклонилась ко мне и шепнула:

— Какой он симпатичный, мама!

— Да, это правда!

— И какой красивый!

Я рассматривала всех троих. Маруан имел больше сходства с Летицией, особенно верхней частью лица. Временами в нем проявлялось выражение лица Нади, которая была более рассудительна и молчалива, чем ее сестра. Летиция всегда бурно выражала свои чувства, и ее реакции порой были очень импульсивными. Она унаследовала итальянский темперамент своего отца. Надя выглядела по сравнению с ними более волевой.

Поймут ли они? Я все еще воспринимала их как трехлетних девчушек и пыталась оградить от всего. А моя мать в возрасте Летиции была уже замужем и ждала ребенка...

Она ведь только что сказала мне: «Какой он красивый!..»

Не хватало им только влюбиться в собственного брата! Мое молчание грозило серией катастроф. Вот сейчас они расхохотались и подтрунивали над явно перебравшим господином. Он смотрел на наш стол и издали обратился к Маруану:

— Чертов болван! Ну и повезло тебе! Четыре бабы на тебя одного! Четыре бабы, а я совсем один!

Маруан посмотрел на него свысока, было видно, что он задет. Он пробормотал:

— Сейчас встану и заткну ему глотку.

— Нет, пожалуйста, останься, не ходи!

— Ну ладно...

Хозяин ресторана поспешил деликатно выпроводить подвыпившего посетителя, и наш ужин завершился шутками и взрывами хохота.

Мы пошли проводить Маруана и его подружку до вокзала. Он жил и работал за городом, занимался уходом за садовыми и парковыми культурами. Казалось, ему нравилось его занятие, он говорил об этом мельком за столом.

Летиция и Надя пока еще не определились со своим будущим. Надя говорила о том, что хотела бы шить, Летиция перескакивала с одного на другое.

Они шли все втроем передо мной по улице, ведущей к вокзалу. Маруан посередке, Летиция держала его за одну руку, Надя за другую. В первый раз в своей жизни они делали это с полным доверием. Я все еще ничего им не сказала, а Маруан был великолепен. Он шептался с обеими сестрами так естественно, как будто бы они знали друг друга всегда. В моей жизни не было много радостей до брака с Антонио и рождения моих дочерей. Маруан родился в горе, без отца, а они в счастье, они для Антонио были настоящим сокровищем. Их судьбы такие разные, однако, смех делает их похожими все больше. Незнакомое чувство охватило меня. Я гордилась ими. В этот вечер я не испытывала недостатка ни в чем. У меня не было ни страха, ни грусти, на душе — полное умиротворение.

На платформе вокзала Летиция мне сказала:

— Никогда еще ни с кем я не чувствовала себя так хорошо, как с Маруаном.

А Надя добавила:

— И я тоже...

— Я хотела бы пойти ночевать к Маруану и его подружке, а завтра утром мы бы вместе позавтракали, а потом мы бы сели на поезд и вернулись домой!

— Нет, Летиция, мы пойдем домой, нас ведь папа ждет.

— Он очень симпатичный, мама, он мне, правда, очень понравился! Он такой милый, такой красивый... Какой же он красивый, мамочка!

Вслед за ней ко мне прилипла Надя:

— А когда мы его снова увидим, мама?

— Может быть, завтра или послезавтра. Мама все устроит, ты увидишь.

— Что она сказала, Надя?

— Я попросила маму, чтобы мы опять повидались с Маруаном, и она согласилась на завтра. Да мамочка? Ты согласна?

— Можете на меня рассчитывать. Мама знает, как все устроить...

Поезд уехал, я взглянула на часы, было почти два часа ночи. Час сорок восемь. Девочки бежали по платформе, посылая воздушные поцелуи. Никогда не забуду это мгновение. С тех пор, как я жила в Европе, я привыкла носить часы, и эта привычка приобрела какой-то маниакальный характер. Моя память так часто меня подводила, когда я вспоминала о прошлом, что я тщательно отмеряла настоящее, если это было важно для меня. Как странно, что Маруан хотел вчера узнать, в котором часу он родился... Ему тоже необходимо отмечать точное время. В эту ночь я как будто видела сны, при этом не сомкнула глаз. Все, что могу извлечь из своей бедной головушки, это то, что была ночь. Я видела какой-то электрический свет в коридоре этой проклятой больницы и врача, который уносит моего сына. Который час... это рефлекс западного человека, а у нас только мужчины имели часы. В течение двадцати лет я довольствовалась только солнцем и луной. Я скажу Маруану, что он родился в час луны.

Придя домой, я послала ему сообщение на мобильный, чтобы узнать, хорошо ли они добрались. Он ответил мне: «Спасибо, спокойной ночи и до завтра. До завтра...»

Было поздно, девочки пошли ложиться, а Антонио еще не спал.

— Ну, как все прошло, дорогая?

— Замечательно.

— Ты поговорила с девочками?

— Нет еще. Но я готова сказать им завтра. Нет причины откладывать, они тут же его полюбили. Это все же так странно... как будто они знали друг друга очень давно.

— И Маруан ничего не сказал? Даже не сделал ни малейшего намека?

— Совершенно ничего. Он был великолепен. Но странно, что и Летиция, и Надя так привязались к нему. Они просто висли на нем. Никогда они не вели себя подобным образом ни с кем из своих друзей. Никогда...

— Ты слишком переживаешь...

Я не слишком переживала, меня разбирало любопытство. Могут ли братья и сестры узнать друг друга, не зная о своем родстве? Что происходило между ними, почему это становилось таким очевидным?

Появляется ли какой-то сигнал, общий для них, о чем они даже не догадываются? Я ожидала одновременно и всего и ничего, но только не этой инстинктивной привязанности.

— Может, стоит подождать денек-другой...

— Нет. Завтра воскресенье. Я устроюсь в кафетерии в своем бюро, там никого не будет, и спокойно поговорю с Летицией и Надей. Понадеемся на Бога, Антонио.

Кроме дочерей в моем окружении были и другие люди, соседи и особенно коллеги, с которыми я работала в бюро уже многие годы. Я обеспечивала переговоры, организовывала небольшие приемы. Там я чувствовала себя как дома, для меня очень много значило хорошее отношение моих начальников... Как представить им Маруана спустя десять лет?

Я должна была остаться наедине с девочками. Они будут судить свою мать за двадцатилетнюю ложь — женщину, которую они не знали, мать Маруана, которая прятала его все эти годы. Ту, которая любила их и защищала. Я часто говорила им, что их рождение — это счастье всей моей жизни. Как же они воспримут то, что рождение Маруана было таким кошмаром, что я даже никогда о нем не говорила?

На следующее утро около девяти часов мы поднялись, как обычно по воскресеньям.

— Я приготовлю тебе кофе, мамочка?

— С удовольствием.

Это был наш утренний ритуал, и я всегда отвечала «с удовольствием». Я была непреклонна в вопросах вежливости и взаимного уважения. Я находила, что местные дети довольно плохо воспитаны. Они пользуются вульгарным языком, который приносят из школы, и мы с Антонио боролись с этим изо всех сил. Отец переспрашивал Летицию, если она неправильно отвечала ему. Я же получила единственное воспитание — рабское.

Летиция принесла мне кофе и стакан теплой воды. Она быстро меня поцеловала, и Надя тоже. Любви, которую я получала от них и от их отца, я не уставала удивляться каждый день, как будто ее не заслужила. Предстоящее объяснение было довольно сложным из-за других причин, а не только из-за моего страха встретиться с взглядом сына.

— Я хотела бы поговорить с вами об очень важных вещах.

— Давай, мамочка, говори, мы тебя слушаем.

— Нет, не здесь. Мы пойдем ко мне в бюро, в кафетерий.

— Но ты же сегодня не работаешь! О, ты знаешь, вчера вечером было так здорово! Маруан тебе больше не звонил?

— Мы вернулись поздно, должно быть, он еще спит.

Если бы это не был их брат, я бы забеспокоилась. Они как всегда болтали друг с другом, совершенно не придавая значения этому необычному разговору в бюро воскресным утром. Это я все придумываю что-то. Они же идут с мамой, мама зачем-то идет на работу, а потом... неважно, они же мне доверяют.

— Вчера мы провели чудесный вечер.

— А, так ты это хотела нам сказать?

— Подождите, все по порядку... Итак, вчера мы провели чудесный вечер с Маруаном, это вам говорит что-нибудь? Маруан — это вас заставляет о чем-нибудь задуматься?

— О приятном мальчике, который жил с тобой у твоих приемных родителей, так он сказал...

— И потом он очень красивый, очень милый.

— Вас привлекло в нем именно то, что он красивый и милый?

— Всё, мама. Он выглядит очень нежным.

— Это правда... А помните, я вам говорила, что когда меня сожгли, я была беременна. Я вам про это рассказывала.

— Да, ты нам говорила...

— И этот ребенок, где он, как вы думаете?

Они смотрели на меня во все глаза с удивлением:

— Но он же не остался там, в твоей семье!

— Нет. А у вас нет никакой версии, где мог оказаться этот ребенок? Вы никогда не видели кого-нибудь, кто мог бы быть похожим на тебя, Летиция, или на тебя, Надя? Или на меня. Кого-нибудь, кто имел бы такой же голос, ходил бы, как я?..

— Нет, мама, уверяю тебя, что нет.

— Нет, мамочка.

Надя повторяла все, что говорила ее сестра. Обычно рупором выступала Летиция. Но вчера я заметила у Нади маленькую капельку ревности. Маруан больше смеялся с Летицией, а ею занимался чуть меньше. Она слушала меня очень внимательно и не сводила с меня глаз.

— И ты, Надя, ты тоже не знаешь?

— Нет, мама.

— Ты, Летиция, постарше, ты можешь вспомнить, ты ведь его видела у моих приемных родителей...

— Уверяю тебя, мамочка, что не помню.

— Так вот, это Маруан!

— Ах, Боже мой, это Маруан, с которым мы провели вчерашний вечер!

И они обе залились слезами.

— Это наш брат, мама! Он был в твоём животе!

— Это ваш брат, он был в моём животе, и я родила его совсем одна. Но я не оставила его там, а привезла его с собой сюда.

Теперь мне предстояло пуститься в самые трудные объяснения по поводу того, почему я его отдала на усыновление. Я тщательно подбирала слова, которые слышала когда-то от психиатра, — «восстановить себя», «принять себя», «снова стать женщиной», «снова стать матерью»...

— И ты держала это в себе двадцать лет, мама! Почему ты не сказала нам о нём раньше?

— Вы были ещё совсем крошки, и я не знала, как вы будете реагировать. Я собиралась сказать вам обо всем, когда вы повзрослеете, как рассказывала о своих шрамах... как рассказывала об огне. Это все равно, что построить дом: кирпичи кладут один за другим. А если кирпич непрочный — что произойдет? Дом разрушится. Вот и здесь то же самое. Мама хочет построить свой дом, и я думала, что чем дольше, тем он будет более прочным, более высоким, чтобы привести туда Маруана. А если не так, то мой дом рухнет, и я уже ничего не смогу сделать. Теперь вам выбирать.

— Это ведь наш брат, мамочка. Скажи ему, чтобы он жил с нами, правда, Надя? У нас есть старший брат, а я так мечтала, чтобы у меня был старший брат, я тебе всегда об этом говорила — старший брат, как у моей подруги. А теперь и у меня есть старший брат, это Маруан! Ну, правда, Надя?

— Я освобожу для него шкаф и уступлю свою кровать!

Надя никогда не давала мне даже жвачки! Она добрая девочка, но с трудом расстаётся со своими вещами, а для брата она на это готова!

Это удивительно — брат возник ниоткуда, а она уже все готова ему отдать...

Таким образом, доселе незнакомый старший брат вошел в нашу семью. Это оказалось так же просто, как освободить шкаф и уступить свою кровать. Скоро у нас будет новый дом, а у Маруана появится своя комната. У меня голова идет кругом от счастья. Все время они перезваниваются, ждут встреч, и я говорю себе, что скоро они, пожалуй, начнут и переругиваться. Но Маруан — старший брат, и он пользуется беспрекословным авторитетом у своих сестер:

— Летиция, не смей отвечать маме в таком тоне! Мама просит убавить громкость телевизора, значит, сделай так! Тебе повезло, что у тебя есть

родители, так уважай их!

— Ну ладно, извини меня, больше так не буду, обещаю...

— Я пришел сюда не для того, чтобы с вами ругаться, но мама с папой оба работают. А что это за беспорядок в комнате?

— Мы тоже в школе не дурака валяли, ты ведь пришел раньше нас! Ты знаешь, что это такое!

— Да, правда, но это не причина так относиться к родителям.

Как-то раз Маруан отвел меня в сторонку:

— Мама? Антонио не раздражает, что я командую девочками?

— Антонио считает, что ты все правильно делаешь.

— А то я боюсь, что он мне однажды скажет: «Занимайся своими делами, это мои дочери...»

Но Антонио так не поступил. И это очень благородно с его стороны. Напротив, он был весьма рад поделиться частью своих властных полномочий. Причем самое замечательное то, что девочки охотнее подчинялись старшему брату, чем мне или Антонио... С нами они спорили, могли хлопнуть дверью, но с Маруаном этого не допускали. Частенько я говорила себе: «Лишь бы это продолжалось подольше...»

Иногда, правда, наступали некоторые напряженные моменты. Летиция пришла ко мне в постель, в поисках заступничества:

— Он меня раздражает!

— Но он прав, так же как и папа прав. Ты отвечаешь невежливо...

— Почему он говорит, что уйдет, если мы его не будем слушаться? И что он пришел сюда не для того, чтобы нас ругать?..

— И это нормально. Маруану не повезло так, как тебе, у него в жизни были трудные времена, о которых ты даже представления не имеешь. И родителей он очень ценит. Ведь с ним рядом не было мамы, ты это понимаешь?

Если бы только я могла освободиться от чувства вины, которое всплывало на поверхность слишком часто... Если бы я могла сменить кожу... Я сказала Маруану, что приняла решение описать нашу историю в книге, если он согласится на это.

— Это будет что-то вроде нашего семейного альбома. И свидетельством о преступлении во имя чести.

— Когда-нибудь я поеду туда...

— Чего тебе там искать, Маруан? Мести? Крови? Ты родился там, но ты не знаешь людей, которые там живут. Я тоже об этом мечтаю, у меня тоже кипит ненависть, мне кажется, я почувствовала бы огромное облегчение, если бы приехала в свою деревню вместе с тобой и крикнула

им всем: «Смотрите все! Вот мой сын Маруан! Мы сгорели, но мы не погибли. Взгляните, какой он красивый, сильный, умный!»

— Больше всего мне хотелось бы встретиться с моим отцом! Мне хочется понять, почему он бросил тебя, ведь он прекрасно понимал, что тебя ждет...

— Возможно. Но ты лучше все поймешь, когда об этом будет написано в книге. Я расскажу там обо всем, чего ты еще не знаешь, о чем очень многие не имеют представления. Потому что лишь немногие женщины выжили, да и те вынуждены скрываться долгие годы. Они жили в страхе и продолжают жить под этим гнетом. Я же смогу свидетельствовать от их имени.

— А ты боишься?

— Немного.

Больше всего я боюсь, что мои дети, и особенно Маруан, будут носить занозу мести в сердце. Что этот дух насилия, передающийся у мужчин из поколения в поколение, оставит отметину, пусть даже маленькую, в его сознании. Он должен построить свой дом, кирпичик за кирпичиком. И книга очень пригодится, чтобы строить этот дом.

Я получила письмо от своего сына, написанное красивым круглым почерком. Он хотел подбодрить меня перед началом трудной работы. Над этим письмом у меня опять навернулись слезы на глаза.

«Мама!

После того долгого времени, когда я жил один, без тебя, я обрел надежду на новую жизнь, когда вновь увидел тебя, несмотря на все, что было в прошлом. Я думаю о тебе и твоей смелости. Спасибо тебе за то, что ты решилась для нас на эту книгу. Она и мне тоже придаст смелости в жизни. Я люблю тебя, мама.

Твой сын Маруан».

Я впервые рассказала о своей жизни, попытавшись извлечь из моей памяти самое сокровенное. Это было еще большим испытанием, чем выступления на публике, и более болезненным, чем ответы на вопросы детей. Я надеюсь, что эта книга распространится по миру, что она попадет и на западный берег реки Иордан, и что мужчины ее не сожгут.

У нас дома она будет стоять на полке в книжном шкафу, и в ней будет рассказано сразу всё и для всех. Я оберну ее в красивый кожаный переплет с золотыми буквами, чтобы она не истрепалась.

Спасибо.

Суад.

*Где-то в Европе.
31 декабря 2002 года.*